

АЛЬБЕРТ КАРЫШЕВ

ПОВЕСТИ  
РАССКАЗЫ



*Циря света*

Альберт Карышев  
**Игра света (сборник)**

«Карышев Альберт Иванович»

2012

## **Карышев А. И.**

Игра света (сборник) / А. И. Карышев — «Карышев Альберт Иванович», 2012

Сборник рассказов и повестей Альберта Карышева «Игра света» – о жизни, главным образом, в условиях новых российских реформ, о судьбах, чаяниях людей честных, трудолюбивых и бесхитростных, обычно называемых «простыми». Некоторые произведения книги относятся к советскому периоду нашей истории, но все они смыкаются и гармонируют с рассказами и повестями о времени тяжелых болезненных перемен в стране. Особняком от реалистических вещей в «Игре света» стоит фантастическая, сатирическая повесть «Дикий человек» – о деградации слабой духом личности в условиях, навязанных ей «обществом потребления» и его «мас-культурой».

© Карышев А. И., 2012

© Карышев Альберт Иванович, 2012

## Содержание

Моя деревня	6
Игра света	6
Дом с выбитыми окнами	9
Как собака украла нашу селёдку	13
Падение дерева	16
Выход из леса	18
В ожидании матери	22
Как мы клали печь и чинили крышу	26
Радость пиления дров	39
Драма в курятнике	44
«Лошадь пашет...» или Трудная жизнь и вечное блаженство	48
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# **Альберт Карышев**

## **Игра света (сборник)**

© Карышев А.И., 2012

© Гатаулин Р.К., 2012

© Издательство «Транзит-ИКС», 2012

## Моя деревня

### Игра света

Хочешь весь день быть счастливым – рано встань с постели. Если летом живёшь в деревне, то прежде всего бери вёдра, ступай по воду.

Воду мы обычно наливаем из колонки, она от нас далеко, под горой. Однажды я описал наш с женой старый крестьянский домик. Напомню: он стоит на высоком холме, на отшибе, а двор заслонён густым терновым кустарником. На десятки или даже сотни метров от домика – ни души, можно ходить по двору голым, и никто не заметит. Я и раздеваюсь в жару донага, чтобы за терновыми кустами окатиться из ведра холодной водой. Жена Вера Владимировна приветствует мои лихие оздоровительные процедуры.

– Молодец! – говорит. – Последую твоему примеру!

И следует.

Деревня окружена лесами. С холма мы нередко любуемся их величественным морем, с мая по сентябрь разнотонно-зелёным, а в сентябре-октябре – с ярко-жёлтыми волнами, красующимися среди волн зелёных. Море мы видим с птичьего полёта, так как леса, покрывающие склоны не очень отдалённых холмов, растут ниже уровня нашего дома.

С парой белых пластмассовых вёдер схожу с крыльца, открываю калитку. Грешное тело прикрыто спортивными брюками и тенниской навывпуск. Погода отличная. Лицо, шею, голые руки овеивает мягкое движение воздуха, похожее на черноморский бриз. Купол неба раздут, гладко натянут, ни складки на нём, ни морщинки, ни облачка. Солнце приветствует меня, помахиывая лучом из-за дальнего леса. Его зрелый подсолнух быстро раскрывается, и вот уже на траве посверкивают росинки, смачивающие головки коротких резиновых сапог, подаренных мне поэтом Вячеславом Улитиним. Иду по тропке к оврагу, разделяющему два порядка домов, вдыхаю свежий воздух, люблюсь влажными ромашками на лугу, «часиками» и лютиками, зверобоем, душицей и трёхцветной фиалкой. Помахиывая вёдрами, осторожно спускаюсь с крутого откоса, кое-где боком, чтобы не поскользнуться на росистой траве и не проехаться на «пятой точке». Хорошо-то как! Жить как хочется! Старости нет, и тело моё молодо, а в теле душа юноши. Готов влюбляться и быть любимым, но помню, что люблю жену.

Шагаю по дну оврага в низинную часть деревни. Серая водяная колонка едва виднеется впереди. Однажды сельский предприниматель Саша Сергеев, друг мой, сказал: «Давай, Иваныч, я тебе воду наверх проведу», – но я не захотел, так как хожу на большие расстояния с удовольствием, а воду обожаю таскать в вёдрах, даже в крутую гору.

Низинная часть деревни застроена куда более плотно, чем наша, верховая. Домов тут много, есть добротные, только вот народу в домах осталось мало. Лет пятнадцать тому назад, помню, идёшь, бывало, с утра по улице и не успеваешь здороваться с местными, и петухи спозаранку кукарекают, куры квохчут, гуси гогочут, собачки заливаются, музыка слышна, а нынче ни людей, ни животных, и тихо вокруг, словно деревня погибла от эпидемии или радиации. Правда, у магазинчика, закрытого пока, в восемь откроется, вижу моего друга Сашу. Дверь магазинчика распахнута, задним бортом к ней стоит «уазик». Хозяин выносит из своей «торговой точки» и грузит в крытый кузов ящики пустые и ящики с банками, бутылками – собирается на продуктовую базу в Муром или Владимир. Ему помогают двое взрослых сыновей. К магазину сбоку примыкает большой каменный гараж предпринимателя; но свой могучий грузовик «Камаз» с прицепом Саша оставил на улице, чтобы подремонтировать, подготовить к коммерческому рейсу. Брёвна и доски он возит с какого-то здешнего лесозавода в другие области России. Громко кричу:

– Привет Александру Алексеевичу! Привет честной компании!

– Привет! Привет! – отзывается Саша, и сразу три загорелых мужских лица (старшее – лобастое, усатое, строгое) и три богатырские фигуры выглядывают из-за машины.

– Как жизнь молодая? – выкрикиваю опять.

– Как в автобусе – один правит, остальные трясутся!..

Иду по травянистой обочине улицы. Земля тут песчаная, и на изъезженной грунтовой дороге слоями лежит густая жёлтая пыль, прибитая росой. По-прежнему в деревне тихо, пустынно; но вдруг бежит знакомая дворняжка и, виляя хвостом, кидается мне под ноги, ложится на спину, смеётся, высунув язык, и подставляет брюхо в знак высшего расположения и доверия. Почесав её, продолжаю путь, и улица помаленьку оживает. Вот петух с курами, панически кудахтая, выскочили из травы, шарахнулись от меня, за ними увязалась серая крапчатая цесарка, а дальше встретились мне гусь и гусыня, вытянули шеи, повели раскосыми глазами и, распустив крылья, пошли в атаку. Картинное движение: точь-в-точь берущие разгон взлетающие самолёты; но этих ребят, которым я почему-то не нравлюсь, я до смерти боюсь и обхожу стороной. Вижу и приветствую сельского пенсионера, чуть-чуть знакомого; но в деревне принято со всеми здороваться. Слабый на вид, седенький, лохматый, с добрым измятым лицом, он стоит под навесом среди колотых дров и неторопливо укладывает их в поленицу. Кланяюсь и двум приезжим молодухам – эти, повязанные белыми платочками, с ведёрками в руках, спешат в лес по ягоды.

– Почём нынче ягоды? – спрашиваю.

– Земляника – девяносто рублей баллон, а черника – шестьдесят.

«Баллоном» они зовут трёхлитровую стеклянную банку. Какие-то деловые люди регулярно скупают у населения ягоды – «баллонами» и грибы – килограммами.

Избы, дощатые заборы и частоколы, огороды, палисадники, уличные деревья, кустарники, лавочки. Раннее солнце «играет» – золотистый свет дрожит, искрится, обогащается перламутровыми оттенками. Приближаюсь к колонке, торчащей из земли в конце улицы, но передумываю сразу наливать воду, артезианскую, между прочим, такую вкусную, что пьёшь её как лимонад.

Решаю зайти сперва к Валентине Николаевне, очень уважаемой мною старожилке деревни. Повидаться с ней хочется, и молока Валентина Николаевна обещала взять на нашу с женой долю: покупает у своей приятельницы, которая держит одну из пары оставшихся здесь коров.

– Мы с Верой Владимировной вчера зашли, – говорю, – а вас не было. Замок на двери висел.

– Это когда же?

– Да часов в двенадцать.

– А! Так я уходила на похороны, – отвечает престарелая женщина, словно оправдывается. Она по привычке встала, наверно, в четыре. Лицо морщинистое, но свежее, чисто умытое, глаза живые, фигура грузноватая, согбенная, натруженная.

– Господи! Кто умер-то?

– А старушка девяностолетняя. Вы, наверно, не знаете. Всё болела, болела, а теперь и померла. Царствие ей Небесное. Да и то сказать, она своё отжила. Всё-таки девяносто лет... срок.

– Вон что, – говорю и уж не соображу никак, спрашивать про молоко или не спрашивать. После сообщения о чьей-то смерти вроде неловко. Валентина Николаевна сама напоминает:

– А молочка я вам взяла. В холодильнике стоит. Можете забрать.

– Большое спасибо. Я за ним попозже зайду. А то – с двумя ведрами. Молоко мне не донести.

– Чайку, может быть, выпьете? – спрашивает она и глядит с надеждой, что я хоть ненадолго скрашу её одиночество, поболтаю с ней. Любит, когда заходят гости. Но я говорю:

– Спасибо, спасибо. Ещё и не умывался даже. Пойду по воду. Вера Владимировна ждёт воды...

Нацеливаюсь было к колонке, но хочется погулять. От калитки Валентины Николаевны я спускаюсь к реке и под сенью разросшихся плакучих ив перехожу узкую бурную речку по железному мосту с перилами. На том берегу в укромном месте бьёт ключ. Давно уже его оградили широким бетонным кольцом, врытым в землю; вода ключевая наливается до половины кольца, и образуется поверхностный колодец.

Отхожу к прозрачной речке, с бульканием и рокотком перекатывающейся по белым камням, ополаскиваю в ней вёдра изнутри и снаружи, возвращаюсь и черпаю ключевую воду.

Справа близко от меня – галечный пляжик, захлёстываемый речкой, впереди по-над рекой – долгая заречная улица, слева – крутая гора, поросшая лесом; в гору вдоль опушки ползёт просёлочная дорога, по которой мы с женой нередко ходим с корзинками – это одно из любимых наших лесных направлений.

Небо чисто, как после генеральной уборки. Солнце всплывает всё выше. На обечайках полупрозрачных пластиковых вёдер возникают яркие световые узоры – солнечные зайчики. Вода в вёдрах колеблется, и «зайчики» колеблются вместе с водой. Прекрасное радостное зрелище, я не впервой люблюсь им, наполняясь ощущениями раннего довоенного детства, когда мама где-то на даче водила меня солнечным утром на речку купаться...

Но почему становится так грустно? Откуда вдруг накатывается волна глубокой печали? Ах, да, кто-то умер, какая-то деревенская старушка. Срок ей пришёл, вот и скончалась; но отчего-то я жалею неведомую старушку, и чудесное утро омрачается для меня этим сожалением...

Поднимаю вёдра и осторожно несусь, стараясь не расплёскивать воду; по дороге не останавливаюсь, с лёгким напряжением в ногах и незначительной отдышкой восхожу на вершину холма и удивляюсь тому, что почти в семьдесят лет не чувствую большой усталости.

Солнце разгорается и уже слепит глаза, греет спину. По пояс обнажившись, умываюсь во дворе, чищу зубы и плещусь, как воробей.

Жена хлопочет возле уличной плиты, оборачивается и, завидев меня, весело машет рукой.

Сейчас мы позавтракаем и возьмёмся полоть грядки.

## Дом с выбитыми окнами

Он стоит против нашей с женой крестьянской избушки, по ту сторону глубокой балки, разделяющей два порядка домов. Старик со старухой много лет назад оставили его; они покинули и сей мир, унесясь душами в Небо.

Опустевшего жилья тут немало. И наверху, где мы с женой Верой Владимировной обитаем, но значительно больше – внизу, по берегам быстро текущей речки, в густонаселённом районе, куда нам, жителям верхнего уровня, надо идти по дну оврага, спустившись с крутого откоса. Но дом, о котором веду речь, всегда виден нам из окон или с порога. На наших глазах он разрушается; мы ничем не можем ему помочь, и в этом нет смысла, ему уже никто и ничто не поможет.

Безнадзорную избу кто-то давно стал ощипывать, как курицу. Делалось это в наше отсутствие или, вероятно, по ночам. Те, кто ощипывал, знали, что мы можем увидеть, кроме некому: других населённых домов поблизости нет, и улицы, разделённые оврагом, невелики: по три-четыре дома в каждой, а наш и с выбитыми окнами вообще стоят на отшибе, словно хуторские строения.

Всё-таки у бессовестных людей мелкая совесть где-то в закоулках души прячется, они порой сами о ней не знают, и напрасно мы высматривали воров даже через артиллерийский бинокль, доставшийся моей жене от деда – он глядел сквозь него на позиции противника ещё в первую мировую войну. Но с другой стороны, я не без сомнения называю расхитителей дома ворами: шакальи, конечно, у них замашки, мародёрские, однако изба много лет – бесхозная, ничейная, а тут хоть какая-то от неё польза...

Исчезли железные бочки из-под угловых водостоков; забор поредел, остались только совсем плохие доски да покосившиеся опорные столбы. Оплешивела крыша – умельцы сняли шифер. Со двора они утащили и поленницу дров, и деревянную лестницу, и уличную печь, разобрал её по кирпичику. Сорвав амбарный замок с двери, взялись и за нутро жилища, а напоследок выбили рамы из оконных проёмов и оставили беспомощный слепой дом гнить заживо.

Грустно видеть его убожество. Если бы окрест не росли замечательные леса, а прямо перед нашими окнами не стелилась покатая лужайка, вся в полевых цветочках, созерцать его было бы ещё тягостнее, особенно в пасмурную погоду; но, возможно, глядя на дом, мы с женой более всего угнетаемся противоположением гибели и жизни, уродства и красоты, печали и радости.

Чудится мне, будто дом зовёт людей, готовых его спасти, поправить, укрепить и заселить, что он сам пошёл бы к людям, да слеп на оба глаза и без поводыря не может. Я долго не решался к нему приблизиться. «Не дай, Бог, – говорил себе, – кто-нибудь увидит и подумает, что я промышляю тут падалью». Глупо такое самовнушение или не глупо, «закомплексованность» это или не «закомплексованность» – не знаю. Но подозрение на человека в его способности «шакалить» для иного хуже смерти...

Однажды перед сном выхожу подышать свежим воздухом. Утром мы собирали в лесу грибы, потом весь день трудились в огороде и к вечеру сильно устали. Не терпелось пораньше лечь спать; но воздух здесь так чист, а картины природы так хороши, что тянет пройтись возле дома на сон грядущий и с вышины полюбоваться на леса.

Погулял, постоял на холме, фантазируя, как, разбежавшись, взлетаю и парю над низиной; вернулся, задержался на пороге. Сгущались сумерки, но солнце до предела ещё не закатилось, его раскалённый сегментик выглядывал из-за гряды дальних лесов. Всё замерло в безветрии. Над головой лёгкие пушистые облака, их края со стороны заходящего солнца подсвечивались жёлто-розовым светом, как заревом пожара, но быстро темнели. Внизу, в котловине деревни собирался туман, сквозь него ещё проглядывали избушки с редкими огнями в окнах, но скоро

всё там растворится в тумане. Скоро на землю опустится ночь, непроглядно тёмная, потому что небо затянуто облачным покрывалом, только на западе горизонта оно пока чисто.

Солнце почти совсем зашло, от него остался уголёк, дотлевавший над лесом. Сумрак густел, превращаясь в мрак. Я уж собрался пойти спать, как вдруг, глянув на дом с выбитыми окнами, увидел слабый красноватый свет в его пустой прямоугольной глазнице, хорошо заметной в неполной темноте. Сперва подумал, что свет мне чудится, мелькает в усталом сознании, но, пожмурясь и приглядевшись, я убедился, что он существует. Сразу представились беспаспортные бродяги или беглые злодеи, укрывающиеся в пустом доме, сатанисты, исполняющие кровавый обряд, или злые духи, слетевшиеся на шабаш. Какими только дикими образами не наполнится голова в эпоху разгула криминала и оккультизма, тем более, что бродяги и разные другие мазурики нередко по деревне шастали, сбывали крестьянам и дачникам какие-то товары, безнаказанно обирали стариков, обворовывали дома и огороды.

Приоткрываю дверь, кричу жене:

– Глянь-ка! – и показываю на дом с выбитыми окнами.

– Ну и что? – спрашивает Вера, но тут же сама видит свет. – Что это?

– Не знаю. Кто-то шарит со свечкой или фонариком.

– Да ведь свет неподвижен.

– В самом деле, – говорю. – Как-то я не подумал. Интересно, что там такое. Схожу-ка выясню.

– Не надо, – отвечает жена. – Не ходи. Может, в самом деле там какой-нибудь бродяга, на ночлег устраивается. Ещё пырнёт ножом... Нет, пошли, пошли! Я с тобой!

Она уже торопит меня.

Идём, взявшись за руки, а в свободной руке я на всякий случай держу увесистую палку. Фонарик пока не включаем – тропинку и так видно. Спускаемся с откоса, карабкаемся на противоположный, подступаем к разрушенному дому и, стараясь не топтать, не скрипеть, поднимаемся по ступенькам крылечка, входим в дверь, лишённую створки. Тишина. Хотя мы вдвоём, но обоим страшновато, слышу, как Вера моя сдерживает дыхание. Ни души. Но какое же чудо природы мы тут находим, какое червонное золото видим в осколке разбитого настенного зеркала! Последний луч заката прицелился из-под облачка, как меткий стрелок, и сквозь выбитое окно попал точно в десятку, в осколок зеркала в раме на стене! Отражение луча, размером всего-то в пятирублёвую монету, горит необыкновенно красиво. Немало лет я на свете прожил, но такое диво, когда уже в густых сумерках на стене жилища отражается прощальный солнечный свет, видел всего два-три раза. «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы...», – как поётся в старинном русском романсе. Но спустя минуту чудо гаснет, и в доме делается совсем темно.

Зажигаю фонарик и освещаю на стены, пол, потолок. В горнице осталась лишь двухспальная кровать старинного фасона, зачем-то опрокинутая мазуриками, положенная на бок, а больше – ничего. Матрас кровати вспорот, деревянные спинки расщеплены, похоже, ломиком (клад, наверно, шакалы искали), одна короткая ножка отломана, валяется рядом; на полу полно мусора, тряпичного, бумажного, стеклянного, деревянного, со стен свисают отклеившиеся обои, в углах паутина болтается, как рваные паруса. Что-то шархнулось во дворе, а вслед раздалось двухголосое кошачье стенание, непримиримо враждебное – это, конечно, встретились нос к носу два боевых кота, и ни один не хочет уступить развалины другому. Коты опять шархнулись и, слышно, помчались куда-то, блажат дурными голосами уже в отдалении. В доме вновь наступает тишина.

Стоим с женой, думаем о покойных хозяевах, о старике и старухе. Знакомые из местных рассказывали нам, что старик работал директором сельской школы, а старуха учительницей. Лет пятьдесят они учили детей уму-разуму и славились в округе как люди мудрые, благородные, но к концу жизни оказались никому не нужны. Их сын-москвич редко навещал родите-

лей, из-за большой занятости, конечно, а не потому, что человек он бессердечный. Сын вроде бы служил в охране Ельцина, под началом Коржакова, и некогда ему было хранить дом, как памятник родным старикам. Когда старики умерли, он попытался продать ещё добротную избу, но никто её не купил, даже задёшево. Кому-то предлагал и задаром, но тоже не взяли. Тогда наследник замкнул на двери амбарный замок и исчез навсегда...

Чудится мне, будто мёртвая тишина вдруг нарушается неясными шепотками. Шепотки звучат в разных местах горницы и рассеиваются в пространстве. Ничего не могу разобрать, но слышу то впереди, то за спиной, то над головой: шу-шу-шу. И грустный такой шёпот, жалобный.

– Что-нибудь слышишь? – спрашиваю жену.

– Нет... как будто, – отвечает она, вертя головой. – А ты что, слышишь что-то?

– Да вроде шепотки какие-то.

– Это у тебя в голове шумит. Пить надо меньше, – шутит Вера. Мы вместе с устатку малость приняли: жена четверть рюмки, а я полную, – вот она и балагурит. Негромко посмеявшись, жена говорит: – Тут всяких жучков полно копошится, мотыльки трепыхаются, и мыши, наверно, бегают...

На другой день отправляемся обедать к знакомой крестьянке Алевтине Степановне Жёлудевой, одиноко проживающей внизу у речки. Она часто зовёт нас обедать, сама не ест, только подносит, угощает с удовольствием. Её приглашения всегда нам на руку: самим-то не больно хочется готовить.

Сидим в кухне Алевтины за столом, хлебаем щи из общей миски, подсушивая низ ложки кусочком хлеба; уминаем сковороду жареной картошки с солёными огурцами, потом до испарины на лбу пьём чай с вареньем. Рассказываем крестьянке про то, как ходили в дом с выбитыми окнами, про луч света в осколке зеркала, про мистические шепотки. Старая женщина присела у окна на лавку, под иконой, расположенной в левом верхнем углу. Смотрит на нас из-под белого платочка и внимательно слушает.

– Наверно, души хозяев туда прилетают, – серьёзно говорит она. – Души и нашёптывали вам, горевали, видно, что все о них позабыли; дом, конечно, жалели. И то сказать: крепкий был дом, ухоженный. И огород хороший, и садик, хоть небольшой, но и яблоки в нём росли, и малина, и крыжовник, и смородина. А теперь что?.. Сам-то, директор школьный Иван Иванович дела крестьянские неплохо знал. Всякую доску, бывало, проверит, подобьёт, каждую вещь на своё место поставит; крыша на доме починена, трава в огороде скошена, яблони привиты, наличники подкрашены. И супруга ему под стать, Марьей Павловной звали, аккуратная домовитая женщина. Поросятки держали, козу, курочек... Жалко достойных людей, жалко ихнюю усадьбу. Что же это делается, скажите вы мне, что справный дом ни родне стариков не понадобился, ни покупателям, а достался жулью? Вот души и прилетают, никак не успокоятся. И огонёк в зеркале – это знамение; души его зажгли – мы здесь находимся, предупредили...

Я хотел возразить Алевтине Степановне: как же, извините, праведные души могут возвращаться на землю, если они давно унеслись на Небо, в Царство Божие? Это, мол, уже не по православным понятиям. Но ничего подобного я не сказал. Не тот у нас вёлся разговор, чтобы я перебил старую женщину каверзным вопросом. К тому же знал я, что, несмотря на свою православную религиозность, она была малость язычницей, как многие жители лесных деревень. Алевтина между тем продолжала:

– Таких разорённых домов у нас, сами видите, чуть не каждая вторая изба. Да что изба – большущая деревня напрочь вымирает не по дням, а по часам. Совхоза больше нет. Личный скот крестьяне от нужды порезали. Поля заросли кустарниками и чертополохом. Из жителей помоложе одни спились, вторые угробились, третьи разъехались кто куда, а стариков уж почти не осталось. А сколько окрестных деревень исчезло за мою жизнь с лица земли! Я помню десятка три, но многие названия забыла. Объясните, кто крестьян до такого существования

довёл, какой изверг человечества всё дальше нас изничтожает? Не сами же мы себя изничтожаем! Разве мы недоумки и неумёхи?..

И вдруг жена моя говорит:

– Вот бы опустевшие крестьянские дома в России однажды собрались, кто может, в большую колонну и прошли через Москву, мимо Кремля и здания Госдумы, впечатляющая получилась бы картина!

Я не раз описывал Веру Владимировну в «семейных» рассказах, упоминал её голубые глаза, длинные густые волосы, в молодости каштановые, а теперь платиновые, благородное лицо, мягкое сердце, но твёрдую волю, редкую хозяйственность и умелость, склонность к юмору. Но, оказывается, я до конца не узнал супругу, прожив с ней более сорока лет; раньше она не проявляла такую яркую художественную фантазию, какую проявила теперь.

Образ порушенных деревенских изб, движущихся по улице колонной, ошеломил меня. И пока мы возвращались от Алевтины Степановны, я дополнял собственным воображением невероятную умозрительную картину, нарисованную супругой, и дома виделись мне живыми существами, заморёнными обездоленными калеками, без рук, ног, глаз, лиц, полоумными, отчаявшимися, озлобленными, в рубище, струпьях и язвах. Слепцы уныло тянулись цепочкой, держась друг за друга, как слепцы на картине Питера Брейгеля, безногие ехали на низеньких тележках. Дома угрюмо молчали...

С тех пор и дом с выбитыми окнами видится мне страшным живым уродом. Не могу отделаться от этого образа. Мне хочется покормить бедолагу, перевязать ему раны и добрым словом согреть душу. А иногда я сочиняю для себя такую сказку. Вот заявился в деревню крепкий умелый человек, пожалел дом и взял на содержание. Он покрыл крышу, навесил дверь, вставил окна и подголубил наличники. Новый хозяин отремонтировал и вычистил комнаты, поправил забор, восстановил сад, огород и стал жить-поживать, возделывая землю, растапливая печь, а к ночи зажигая в горнице электричество. Знаю, что этого не случится, но в сумерках смотрю и жду... Жду, когда в чёрных окнах несчастного дома засияет огонь – хотя бы снова отражение последнего закатного луча в осколке зеркала.

## Как собака украла нашу селёдку

Осень. Погода хмурится. Тучи штормовыми волнами ходят в небе над деревней. Вид небесного простора, возмущённого порывистыми ветрами, созерцание голых холмистых полей и лесов, сбросивших листву, не рождающих более ни ягоды, ни хорошего гриба, – всё навеивает тихую грусть и мысли о недолговечности существования. Безрадостное состояние души и ума тяжелее переносится в одиночестве; но нас двое: я и жена, – и если нам теперь не очень весело, то и не особенно грустно, «чувствуем плечо друг друга», многолетнюю взаимную поддержку и не унываем. Сидим за столом, пьём чай, поглядываем в окно и говорим о том, как, погрев на тёплой лежанке старые кости, последний в этом сезоне раз, уедем завтра домой. Урожай в огороде собран, всё до самой мелкой картофелины, луковицы, морковинки выкопано из рыхлой земли. Увядшая ботва отнесена в компостную яму, в ней немало собралось за лето и съестных отбросов: будет перегной, – посажены озимые лук и чеснок, остальные грядки удобрены готовым перегноем. Картошку и большую часть зелени мы постепенно переправили в город, завтра повезём остальное – «на себе», понятно, в коляске, сумках и рюкзаке; потащимся рано утром, как заезженные клячи, до рейсового автобуса. Что делать, на машину не заработали. Да и зачем она нам – машина? Чтобы по рассеянности, в задумчивости врезаться в столб? Жаль, думаем, не хватит сил собрать, увезти и богатеиший урожай прекрасного терновника, ветви которого, отягощённые синими ягодами, гнутся к земле и молят хозяев освободить их от непомерного груза...

Вечереет. Картина за окном влажная, но дождь, моросивший с утра, до времени перестал. Только бы завтра, думаем с женой, дождь не возобновился. Вдали под горой кое-где тянутся из кирпичных труб, колеблются ветром серые дымы, а у нас наверху не видно вокруг никаких примет жизни; но вот мимо дома не спеша бежит знакомый рыжий кобель. Я знаю, что сейчас он заглянет к нам, поднимаюсь из-за стола, иду угостить его печеньем и карамелькой.

Калитки у нас нет, вход свободный; но пёс, завидя меня, останавливается перед входом. Он всегда так поступает, остерегается людей. Свищу, похлопываю себя по бедру, зову, как умею – собака ни с места, стоит без движения и, вскинув голову, смотрит человеку в глаза, ждёт подачки, при этом даже хвостом, по пёсьему обычаю, не виляет, не заискивает. Чем-то похож кобелина на овчарку, но не овчарка он, смахивает и на гончую, но не гончая, а какая-то стихийная помесь: шерсть мохнатая, уши всяческие, а хвост баранкой. Старый, жалкий, дурашливого вида, глаза тусклые, шерсть свалылась, неопрятная. Никто в деревне не назвал мне его имени. Известно лишь одно: прежде кобель служил здешнему пастуху, стерёг с ним общественное стадо. Когда при новом укладе русской жизни тут сохранилась единственная корова, а прочих коров, коз, овец крестьяне с отчаяния порезали, собака сделалась ничейной, так как пастух запил и помер. С утра до вечера шатается бездомный пёс по большой деревне, ищет пропитания, обходит по очереди всех дачников и уже немногочисленных местных. Где беднягу пожалеют, бросят кусок, а где сам украдёт. Красть, шельма, видно, ловок...

Разламываю печенье, бросаю по кусочку, напоследок отдаю псу конфету. То и другое он хватает на лету, чавкает, хрукает и трусцой бежит дальше. А я возвращаюсь к столу, продолжаю пить чай и разговаривать с женой.

Вдруг опять вижу за окном кобеля. Теперь он скачет судорожным галопом мимо избы по тропинке, сворачивающей за угол, и скоро исчезает из поля моего зрения. Но я успеваю заметить, что он пронёс в зубах какой-то мягкий груз белого цвета, треугольной, показалось мне, формы, мешающий ему скакать ровно, болтающийся из стороны в сторону.

– Побежал, – говорю. – Что-то уже нашёл. Вечно голодный, но хлеб, поди же, не ест, только что повкуснее.

– Да, – отвечает Вера Владимировна. – Бродячий, а набалованный.

– Глядит тупо, – продолжаю, а сам уже что-то смутно заподозриваю. – Строит из себя дурака, но, по-моему, умён и хитёр. Слышал, жаловалась одна старушка: кобель забежал к ней в избу, на мост и стащил свежую рыбину. Принесла из магазина и оставила в холодке...

Тут в голове моей слышится какой-то шелчок, наступает озарение, и я, как подпружиненный, вскакиваю на ноги, с нарастающей тревогой спешу в сени.

Так и есть, чуюло сердце: замечательный съестной морепродукт, который мы собрались положить завтра в дорожную сумку, исчез в сенях с самодельного кухонного столика! Это была норвежская селёдка, крупная, толстенная, вкуса необыкновенно хорошего. Продавец Галя Сергеева, владелица магазинчика, присоветовала нам купить норвежской побольше: все её хвалят, быстро разбирают, и стоит сравнительно недорого, и случается на базе редко. Галя сложила вилкой пяток серебристых красавиц в двойной пластиковый пакет и сиюминутной платы не потребовала, отпустила в долг, поскольку денег у нас оставалось только на билеты до Владимира. От вида праздничной закуски и ощущения её пряного запаха мне малость челюсть свело и так захотелось «посолиться», что я еле сдержал порыв сунуть в пакет руку, вытащить рыбку и слопать прямо в магазине, прилюдно.

Ведь мы с женой уже лет пятнадцать, с начала реформ, не ели селёдки, разве только в гостях, хотя любим её. Редко, конечно, видели и свежую рыбу, и мясо, колбасу, сыр, но всё же покупали это в малых количествах, для внучки, селёдку же обходили стороной: внучка не знала её вкуса, а дед с бабой не могли позволить себе есть без ребёнка: слишком дорого, считали, не по пенсионерскому карману. Теперь мы принесли из магазина килограмм с лишним солёного лакомства, целое богатство. Мы оставили его в сенях на столике возле электроплитки, раскрыв пакет, чтобы рыба «не задохнулась», а потом умилённо говорили про то, как попотчует любимую внучку, и сами от души угостимся селёдкой с картофелем, и нашим двум котам и одной кошке бросим в тарелки сочные косточки.

Но деревенский пёс-ворюга, сбив нас с толку обманными движениями, тайно, с заднего хода, что ли, или с переднего ползком, пробрался во двор, в сени и отблагодарил хозяев за радушие: спёр пакет. Уличная дверь в нашей избе всегда была открыта...

Выскакиваю на улицу, ступаю на тропинку, бегу искать собаку. За углом избы плоского-рьюе вскоре обрывается, и земля тут сходит под откос. Боком вприпрыжку спускаюсь с крутого откоса, но гляжу вперёд и вижу, как лохматый мазурик, присев под горой, уже терзает пакет, придерживая его лапами, разрывая зубами, мотая башкой. Заметив меня, кобель не очень спешит отступать: холм высок, и пока человек приблизится, думает собака, можно успеть попробовать селёдки.

Но я бегу шустрее, набираю скорость, и пёс хватает пакет и улепётывает дальше. За холмом следует другой. Теперь мы вместе бежим вверх, а потом снова вниз. Я знаю, что не догону кобеля, но надеюсь, что он выронит краденое, и я подберу. Невыразимо жалко селёдку, до слёз. В кои-то веки мы с женой решились вкусно поесть, и вот – на тебе!.. Бросаю в пса камни, ору ему вслед, машу руками, но он не боится. Поскальзываюсь на жухлой сырой траве, падаю и больно ушибаюсь, но, потеряв колено, встаю и опять бегу, удивляясь тому, как хватает у меня сил, упрямства и проворства следовать за собакой. Праведный гнев ведёт обиженного, ограбленного человека, ненависть к дармоеду-псу, посягнувшему на еду честного труженика. «Так бы и убил! – говорю себе. – Что же это делается? Есть справедливость на белом свете или нет её?..» Ещё подъём. Кобель с селёдкой в зубах скрывается за гребнем холма, и когда я достигаю гребня, то собаки нигде не вижу. Вправо гляжу, влево, кручу головой, хлопаю глазами – нет проклятого, исчез, как призрак, растворился в воздухе.

«Может, тут где-нибудь пещера?» – думаю. Отдышавшись, спускаюсь вниз, осматриваю каждую ямку, захожу за бугры. Ямки пусты, бугры невелики, за ними не спрячешься, пещер ни одной, а собаки след простыл; но главное, пропала вожаемая норвежская селёдка и уже никогда к нам не вернётся...

Иду назад, к Вере Владимировне, а она меня ждёт на улице, вышла в тёплой кофте на край плоскогорья и стоит одиноко в виду сонных лесов, темнеющих сквозь туманец в полукилометре от нас, под холмами. Ветер треплет подол её платья и пряди седых волос. Лирическая русская картина под названием: «Вдаль глаза ты проглядела». Обнимаемся с милой, вместе грустим и неожиданно вспоминаем тяжкое военное детство, а потом голодные послевоенные времена, и вообще толкуем о беспросветной скудости нашего существования. Нет, мы не жалуемся: бедность – судьба поколений, и не порок она. Привыкли мы к трудностям, умеем их побеждать и довольствоваться в жизни малым.

Хочется, конечно, облегчения на склоне лет, ну, хотя бы селёдки поесть вволю. Однако не семечки же ради этого идти продавать и не товары из Турции.

– Стыдно признаться, – говорит Вера, – но в первую минуту, как поняла, в чём дело, я испытала не досаду, а горе. Сейчас уже ничего, но было такое чувство, словно не селёдки лишились, а дом сгорел.

– А меня трясёт от бешенства, – отвечаю. – Кобелина обвёл нас вокруг пальца, обчистил, наплевал в душу и заставил бегать за собой по горам немолодого человека, к тому же писателя. Попался бы он мне сейчас в руки, я бы его, пожалуй, кастрировал.

Смотрим друг на друга, и вижу, лицо жены разглаживается, утрачивает признаки дурного настроения, моё, наверно, тоже. Всё-таки в этой истории кроме огорчительной стороны есть и занимательная, даже уморительная.

– Бедный пёс. – Вера Владимировна вздыхает и улыбается. Слёзы у неё выступили от обиды на пса и на обстоятельства, и ещё не высохли слёзы. – Ему ведь тоже хочется селёдки. Он, как и мы, прожил большую жизнь, много поработал, но под старость увидел мало хорошего. Бес попутал дурачка. Съест ворованное, и потом, наверно, его совесть замучит.

Я смирился, поддакиваю и добавляю:

– Жаль только, внучка не попробует теперь селёдки, не узнает её вкуса.

– Ничего, – говорит жена. – Соберёмся в городе и купим. Или вырастет большая – попробует.

– Конечно, – улавливаю её не очень весёлый юмор. – А доживёт до наших лет – попробует обязательно.

Так мы и решаем, что бездомного пса-сироту надо пожалеть и простить, и уже корим только себя – за ротозейство, – и смеёмся над собой всё откровеннее.

## Падение дерева

Спелая брусника напоминает россыпи коралловых бусин, или алые соцветия, или капли крови, упавшие на траву – кому что видится. Её яркие кулиги завораживают; перед ними, невольно ахнув, останавливаешься, рассматриваешь картинную бруснику и глядь – уж, присев, собираешь, хотя не очень любишь это занятие. Вот и мы с женой пленились лесной красоткой. Грибовросло мало, а ягодный участок (по-местному, по-деревенски «кулига») попался нам на глаза, и наши незначительные лисички да сыроежки легко поместились в одну корзину, в другую же посыпались упругие шарики, в большинстве багровые до черноты, а в меньшинстве – с недоспелыми боками, белесыми, как рыбе брюхо. Стук-стук-стук, шлёп-шлёп-шлёп, тра-тра-тра... Сперва звуки падения ягод дробны, гулки, словно брусника сыплется на оркестровый барабан, потом еле слышны, когда она покроет дно корзины, застеленное бумагой. Эта ягода, если её много, собирается споро, горстями, хотя горсти нередко попадают не в корзину, а в рот...

А вокруг стоял лес, смешанный, но с преобладанием сосен. Сосны в нём росли и молодые, тонкие, и старые, толщиной в колонну зала Дома союзов. Немало старых сосен подсохло, но все они крепко держались на ногах, тогда как среди молодых почему-то было немало хилых, горемычных, росших с большим наклоном или вовсе опиравшихся на соседние стволы. Землю покрывали пепельные и зелёные мхи, шишки, иголки, палые листья, уже пустые черничники и красные, тяжёлые от обильного урожая брусничные кусты. В стороне светлела вырубка – трасса линии электропередачи. По просвету мы ориентировались и не теряли направление на просёлочную дорогу и свою деревню.

Поздняя осень. День хмурый, но не промозглый, правда, наверху буйствовал ветер, при резких порывах сбивая на землю шишки и тонкие сучья с метёлками сосновой хвои. От грозного шума ветра делалось не по себе, а шишки и ветки метили нам в голову – богатая брусничная кулига располагалась как раз под великолепной матёрой сосной, у могучего подножия которой мы с женой копошились, словно муравьи. Но в общем духом мы не падали – рвали и рвали красивую пурпурную ягоду, выбирая её из округлых вощёных листочков, и говорили о том, как наварим приятного кисловатого варенья, а часть брусники засыплем в пятилитровую бутылку и зальём ключевой водой.

То на одно опустишься колено, увлѣкшись сбором ягод, то на второе, то сразу на два, то присядешь на корточки. Мы уж запарились от усердия, колени наши, то есть брюки на коленях, вывозились в земле, плечи украсились иголками, седые патлы выбились из-под кепки и вязаной шапочки, глаза диковато разгорелись, и стала жена моя Вера похожа не на учительницу-пенсионерку, а на лесную ведьму, я же, значит, на ведьмака или лешего. Мы подшучивали друг над другом; но ветер нас всё-таки тревожил, он быстро усиливался, шишки срывались с сосен стремительнее прежнего и лупили по земле, как осколки снарядов, а ветки обламывались всё более крупные. Опасности мы себя подвергли изрядной, пренебрегши дурным прогнозом погоды. Но какой любитель и любимец леса, заядлый грибник или ягодник остережётся навесить свои уголья хоть в дождь, хоть в зной, хоть в сильный ветер?

Да, мы недооценили зловещий прогноз. Ветер превращался в бурю. Сосны, возвышаясь над берёзами и осинами, всё круче размахивали верхушками, их ветки вздымались к небу языками пламени, разбрасывались по сторонам, и казалось, наверху бушует зелёный огонь, раздуваемый ветром. Под напором бури мачтовые стволы раскачивались, выгибались, стнели и потрескивали. Обломанные ветки уже летали, как птицы, а осколки снарядов градом осыпали землю и теперь попадали в нас. Брусничную кулигу мы, конечно, бросили. Поприжимались к дереву спинами, а корзины поставили себе на головы, защищаясь от шишек, но скоро выбежали из-под сосны и отодвинулись от неё подальше.

– Надо выбираться из леса! – Хватаю жену за руку. – Пошли!

– Да-да! – отвечает она. – Скорее! А то будет поздно!..

Трах-тарарах!..

Впереди, и не очень далеко, крупная сосна не удержала на себе тощую длинную соплеменницу, высохшую от какого-то недуга, и скинула её с плеч. Хотя сосёнка была так себе, но её жёсткий удар о землю испугал меня и жену, поразил неожиданной звучностью и мощностью.

Трах-тарарах!

В стороне от нас, ближе, чем первая, упала другая сосна, здоровьем покрепче, размерами больше, и ноги наши ощутили сотрясение земли.

Тут и там стали падать слабые деревья. Небо потемнело. Над лесом распростёрся перекошенный злобой дракон с налитыми кровью глазами, выпустил когти, клыки, ударил по вершинам сосен железными крыльями и дунул в три пасти так, что едва не превратил дебри в сплошной бурелом. Не дай Бог никому в бурю оказаться в глухом лесу!

Мы с женой заметались в панике. Куда бежать? Что делать? Нигде просветов не видно! Но вот женщине с крепким характером, моей верной спутнице пришла в голову разумная мысль: нырнуть под коренастую, широко разросшуюся берёзу, которой ветер не достигал. Пospотыкавшись о кочки и валежины, попутавшись немолодыми ногами в траве, уронив корзину и рассыпав бруснику, мы добежали до берёзы, и она приняла нас и защитила, как крепость.

Вздрагивая от страха, мы и пересидели под берёзой сокрушительный ветродуй. Наломав дров, он, к счастью, быстро стих, как положено шквальному ветру; вовсе не кончился, но ослабел до первоначальной терпимой силы.

Если представить палые деревья сражёнными воинами, то лес сейчас напоминал поле жестокого побоища. Мы с женой онемели от созерцания множества сосен-мертвецов, лежащих на земле. Радуюсь и не веря, что счастливо отделались, мы вылезли из укрытия, поспешили домой, обходя, перешагивая бурелом, и вот тут случилось непредвиденное, непонятное: огромная сосна на нашем пути, как будто совсем здоровая, качавшаяся уже не очень размашисто, вдруг без видимой причины пошла крениться-крениться, описала в космическом пространстве дугу, пронеслась вершиной меж звёздами, в неуправляемом полёте перемолола кости соседним деревьям и, сломавшись у основания, рухнула, как Россия под ударами демократии. Птицы, было зачирикавшие после бури, разом смолкли. Земля, жутко содрогнувшись, едва не сдвинулась с оси вращения и с орбиты движения вокруг Солнца. Её дрожь, наверно, докатилась до стран Запада, так как на другой же день радио сообщило, что в какой-то европейской стране произошло землетрясение, а в Америке наводнение – и всё с жертвами. Мы же с супругой Верой, ошеломлённые нелепой гибелью великанши, запоздало отскочили в сторону и едва не попали под её толстые ветви.

Какие жучки-червячки день и ночь подтачивали сосну и разрушили ствол до опасности излома, какие тайные силы в сто раз уменьшили предел выносливости дерева и подготовили его смерть – неизвестно.

С тех пор мы уже не один год ходим к месту его падения, ужасаемся завалу гниющих стволов, вывороченных корневищ и дивимся тому, что из лета в лето поверженная сосна... зеленеет и цветёт. Полкроны умерло, высохло, побурело, но на живых ветках завязываются, зреют шишки, и семена дерева разносятся ветром по лесу. Какие соки, объясните, питают его, какие силы поддерживают в палой сосне горение жизни?

## Выход из леса

Возвращаюсь с грибами в деревню. Иду молодым, просторным и светлым лесом, в котором пней даже не видно – наверно, никто никогда не пилил этот лес. Тут растут и берёза, и ёлка, и осина, и сосна, всем хватает места под солнцем, все деревья как-то сумели пошире раздвинуться и не мешают спокойно жить одно другому. Дружат и взаимодействуют, словно народы легендарной страны Советов. Подлесок, правда, помаленьку разрастается, и неизвестно, что дальше будет.

Шагаю споро, местность покатаая, покатошь тоже подгоняет. На ходу наклоняюсь, рву одной рукой и кидаю в рот спелую чернику и переспелую землянику. Несу за ручку свою старую ивняковую корзину, слушаю младенческие голоса птиц, смотрю, как то и дело меняется обстановка леса и чередуются его оттенки зелени. Корзина моя полным-полна, но грибы лезут мне на глаза, из травы встают на цыпочки, из кустов выскакивают, из-за деревьев и кочек. Я креплюсь, не беру, без того тяжело, и класть некуда. «Не попадайтесь больше! Не попадайтесь! – бормочу. – Мне хватит!»

Ушёл я далеко, но уверен, что не заблужусь. День сегодня ясный, солнечный, а я давно заметил, как солнце движется относительно моей деревни и под каким углом к нему надо в лесу идти в разное время дня, чтобы добраться домой.

Но время летит быстрее, чем кажется спешащему из леса домой, и откуда-то вдруг берутся тени – не эти, фигурные, прозрачные, от деревьев и кустов, – а сплошные, хмурые, падающие сверху. Поднимаю голову и вижу, что на небе, ещё недавно светло-голубом, ясном, как стёклышко, появились тучки. Одна из них накрыла солнце, подержала его в неволе и выпустила. То же самое делают вторая, третья, четвёртая, пятая тучки, плывущие друг за другом, а потом их множество, создавая ветер, объединяется и не даёт пробиться ни одному солнечному лучу.

Холодает. По лесу хлещет дождь, шумя, как горный водопад.

Я не того боюсь, что вымокну до нитки, а того, что могу теперь заблудиться. В сильный дождь не только утрачиваются солнечные и другие ориентиры, но главное, лично у меня исчезает чутьё лесовика, как в сырости пропадает чутьё у собаки, идущей по следу. Лес за сеткой дождя сказочно красив, но переиначен, знакомые места в нём кажутся впервые увиденными. Мне бы следовало переждать этот внезапный и, как я думал, по-летнему недолгий ливень, посидеть до конца его под развесистым деревом, но я тороплюсь спастись от дождя, куда-то бегу, словно молодой, и сбиваюсь с пути.

Дождь кончается много позднее, чем я ожидал. Опять выглядывает солнце, но уже другое, предсонное, светящее по низу деревьев, вознося к их верхушкам последние неяркие лучи. Я вновь поворачиваю на него, не ведая, как идти иначе, но отлично понимая, что за то время, пока лил дождь, солнце описало в небе большую дугу, а сам я прошёл значительное расстояние неизвестно куда. Погрешность взятого мной после дождя направления велика. Осознав, что до наступления темноты из леса уже не выйду, я чувствую страх, уныние, злость, беззащитность – всё, как однажды по объявлению в России перестройки и демократии.

Солнце, уходя на покой, играет с грибником дурную шутку: тянет его из хорошего леса в мрачную чащобу, поросшую травой по колено, заваленную палыми деревьями, из которых иные так прогнили, что сами собой развалились на куски. Хорошо помню, как солнце совсем исчезло за лесом, забрав с собой бледные лучи, похожие на крылья ветряков, и оставив над землёй временное тусклое свечение. На фоне тусклого свечения вижу впереди ряд наклонившихся в разные стороны деревьев, то ли подпёртых от падения соседними прямо стоящими, то ли, наоборот, подпирающих прямо стоящие. За этими дикими раскосами и стояками в глубине дебрей клубится туман.

Воцаряется ночь. Я скучаю по жене Вере, думаю о том, как тревожно ей сидеть одной в избушке, с нетерпением дожидаясь мужа, и жалею, что не могу успокоить её весточкой, поскольку не пользуюсь мобильным телефоном. Обычно мы уходим в лес вместе, но сегодня она занялась стиркой. «Хорошо, что Вера не пошла, – говорю себе. – Жена моя не из слабо-нервных, не из пугливых женщин, и вместе нам, заядлым лесовикам, приходилось блуждать и ночевать в лесу, но тогда была молодость, нынешнее же моё приключение не по её с годами слабеющему здоровью».

Где ночь застаёт, там и останавливаюсь: возле упавшего толстого дерева, поднятого упёршимися в землю сучьями на высоту спортивного бревна. Шалаш, считаю, мне ни к чему; костёр разжечь – спичек нет: некурящий. Я крепко устал, но сидя на мокрой траве отдохнуть не желаю, а какой-нибудь подходящей жердины поблизости не нахожу. Забираюсь на лежащее дерево, но быстро с него соскакиваю – сидеть среди густых, кривых, царапающих сучьев не нравится. Отнеся в сторону, чтобы в темноте не уронить, корзину с грибами, я приваливаюсь к палому дереву, сперва животом, потом спиной, и так, больше мучаясь, чем отдыхая, терпеливо жду рассвета.

Ветер давно замер. Небо снова чисто, сияют звёзды. Сперва я вижу лишь очертания палого дерева, к которому пристроился, да силуэты близрастущих деревьев, а всё, что дальше, кажется сплошной чёрной массой. Но когда глаза привыкают к слабому звёздному свету, различаю впереди какие-то волосы, свисающие с веток, а в стороне от волос на прогалине – длинного уroda с птичьей головой и старуху в платке и юбке до земли. Образы, созданные воображением, не так страшны, как внезапный натуральный человеческий вопль поблизости, а за ним ещё один, с невнятными причитаниями. Скорее всего, это филин сходит с ума. Что-то ещё хрюкает и ворчит басом экс-премьера Касьянова – тоже недобрые звуки, – но воплей я пугаюсь до колотья в груди.

Потом мерещится вдали зеленоватый огонёк, о котором я думаю: а не пресловутый ли это «тот свет в конце тоннеля» и не нечистая ли сила подманивает меня к себе, чтобы обнаружить и сожрать? Наверно, это горит светляк в гнилушке, но, может быть, волчий глаз; в предположении волчьего глаза тоже становится не по себе. Прогоняя страхи, читаю «Отче наш».

Во влажном тёплом ночном лесу, конечно, донимают комары. С омерзительным зудением, пытаюсь тончайшими злыми голосами выговорить «банзай», они кидаются на меня целыми полчищами, лезут в рот, нос, уши, кусают то в щёку, то в лоб, то в шею, то в кисть руки, прокалывают стальными хоботками пиджак, штанину, кепку. Я непрерывно бью себя обеими руками, размазываю кровь, охаю и приплясываю. Борюсь с комарами, перестаю хотеть спать (а то глаза сами зажмуривались, ноги подгибались) и больше не страшусь мистических образов, диких зверей и чьих-то воплей. Так что с одной стороны кровососы зверствуют, а с другой поддерживают в заблудшем путнике бодрость тела и духа...

Я не раз слышал истории о том, как люди плутают в лесах и как некоторые навсегда в них теряются. И в нашей деревне был случай: пошла чья-то бабуся по грибы и исчезла, ни живой не нашли, ни мёртвой. По телевизору как-то говорили об одной старушке. Эта неделю провела в лесу и выжила, поддержав силы ягодами, не испугавшись одиночества, опасностей и наваждений, обернув корой берёзы открытые голени, чтобы не искусал гнус. Я удивлялся отважной женщине и с морозцем по коже видел себя в её злключении, а теперь вот сам заночевал в дебрях, и рассказ о моём тяжёлом походе можно приложить к другим подобным.

«Не сдамся, – храбрюсь я, не прекращая воевать с комарами и чесаться. – Как рассветёт, поем ягод – черники тут, наверно, полно, гонобобеля – и стану думать, что делать дальше. Рыжики тоже и сыроежки годятся в пищу в сыром виде, ещё лягушки и змеи. В общем, не пропаду. Хотя кто знает, сколько дней мне придётся блуждать, леса-то здешние – муромские, известные своей протяжённостью и дремучестью».

По верхам деревьев пробегает свежий ветер, это начинается утро. Кровососы нападают меньше. В сражении с ними я разгорячился; но одежда на мне мокрая, и в сапоги от дождя натекло, я скоро до дрожи стыну. Чтобы согреться, машу руками, приседаю и прыгаю. Вижу, как наступает ранний летний рассвет, как быстро выявляются первозданные картины пуши, как лес опутывает плотная паутина – это слоями поднимаются от земли дождевые испарения. Гляжу на часы: времени около четырёх. Всё вокруг видно, но идти некуда – всюду дебри, травища, бурелом. Надо ждать солнца, без него нельзя трогаться с места. «Только бы взошло! Только бы небо опять не затянуло тучами! – думаю, поглядывая вверх. – По солнцу я опять попытаюсь определиться, а если скроется, то не буду знать, в какую сторону идти».

Небо голубое, как глаза моей жены. Часам к пяти светило протягивает из-за леса лучи, а потом само пробирается к верхушкам деревьев и сверкает. Встречаю его как живое существо, друга и товарища, профессионального спасателя, узнавшего о том, что человек может сгнить в дремучем лесу, и немедленно явившегося на помощь. Невозможно передать, какое удовольствие я испытываю от его огненного сверкания и нарастающего тепла. С восходом солнца пуца по-своему, по-дикому прихорашивается. Влажная зелень всюду искрится. В роскошной траве видны на прогалине белейшие ромашки, соцветия йван-чая, колокольчики, курслеп, зверобой, фиалки и разные другие прелестные цветы, а возле моего ночлега – обилие крупной черники, которую я впотьмах изрядно подавил сапогами. Красиво вокруг; люблюсь. Слышу бойкое щебетание и хлопанье крыльев. Оказывается, и птицы тут живут и суетятся по утрам. Но мне нельзя обольщаться красотами леса. Дикая природа поглотит меня, если я не выберусь из неё. Невелика радость умереть под пение птиц, среди цветов и ягод.

Поев черники, прикидываю направление, не забываю корзину с грибами и пускаюсь в неведомый путь. Дорога тяжелее, чем я предполагал. Тут полно глубоких оврагов, склоны их, как и лес наверху, загромождены поваленными деревьями, а дно заросло папоротниками. Осторожно спускаюсь вниз, обходя или перелезая скользкие стволы; а на дне по плечи погружаюсь в мокрые папоротники и, искупавшись в них, как в студёной реке, карабкаюсь наверх. Строго держу под острым углом к солнцу. Тяжело дышу, шатаюсь от усталости, но берегу грибы. Скусываю корки с покоробившихся губ и облизываю влажные листья деревьев, чтобы утолить жажду. Иду, иду, иду. Молюсь, как умею, Богу, а ещё вдохновляюсь подвигом старушки, неделю проведшей в лесу.

Ландшафт становится ровнее. Овраги больше мне не встречаются, но по-прежнему немало на моём пути и гниющих деревьев, и непродиристых кустарников, и цепляющейся за ноги травищи. К полудню лес просыхает, мою одежду солнце тоже высушило, в сапогах только мокро, вязаные носки хоть отжимай. Я нахожу укромное место, ложе, застеленное шёлковой травой, скидываю сапоги, вешаю носки на ореховый куст и ложусь. Пихаю под голову свёрнутый пиджак и собираюсь отдохнуть совсем немного, но через минуту крепко сплю. Комары никуда из леса не делись. Не так зверски, как ночью, но они продолжают кусаться, а в разгар дня им помогают слепни, только я уже ничего не чувствую.

Просыпаюсь от чьего-то холодного прикосновения; открываю глаза и сперва вижу нацеленное на меня бельмо, которое оказывается белёсым грибовидным наростом на стволе берёзы; а дальше, повернув голову, удивлённо смотрю на лягушку, словно для того припрыгавшую к моей горячей щеке, чтобы разбудить меня и сказать: «Эй, мужичок! Солнце-то передвинулось! Голова твоя садовая попала из тени на припёк!»

– Спасибо, лягушка! – говорю. – Спасла ты меня от теплового удара! Скачи домой!

Подгоняю её пальцем, и она, сильно оттолкнувшись, делает большой скачок.

Солнце краснеет и снижается. На часах шестнадцать с минутами. Ужаснувшись тому, как быстро сократилось для меня световое время дня, я встаю, обуваюсь, надеваю пиджак, снова ем чернику и бреду с корзиной дальше. Ноги болят, поясницу ломит, голова трещит от после-полуденного сна и солнцепёка, лицо залито потом. Тру лицо подкладкой кепки и ощущаю, как

украсилось оно шишками от укусов слепней и комаров, – когда явлюсь домой, жена, наверно, при виде любимого ужаснётся и не сразу узнает его.

Тоска по жене и дому, жажда тепла и уюта обостряются во мне до предела. Куда-то пропадают все мои недомогания, иду быстрее. Лес, похоже, становится лучше, чище, опрятнее, совсем исчез бурелом. Но вдруг я вижу признаки диких зверей. Встретившиеся мне в одном месте крупные берцовые кости, рёбра и длинный череп, наверно, оставили волки, сожрав лося. Только волчья стая могла справиться со взрослым лосем. А большой участок земли изрыт кабанами. Хрюшки, добывая какие-то коренья, подняли травяной слой до голого суглинка. Пласты дёрна так старательно выворочены и откинута в стороны, что несведущему в повадках зверья грибнику или ягодунику трудно поверить, что это дело не рук человеческих, а свиных рыл. Кошусь по сторонам, не выскочит ли из зарослей клыкастый вепрь. А то, чего доброго, и медведь, ревя, выйдет из малинника. Малины здесь тоже много, она почти вся спелая, да некогда мне теперь есть: день на исходе.

Почти бегу, не чувствуя ног, не замечая усталости и одышки. Это нервная лихорадка от страха провести в дебрях ещё одну ночь.

Заходящее солнце мерцает, словно лампа под падающим напряжением. Опять надвигаются сумерки. А лес тут совсем неплох, деревья широко раздвинулись и помолодели, под ногами приятная травка, грибы хорошие растут, а в дебрях встречались одни квёлые перестарки. Местность полого наклоняется. Под горку бегу ещё скорее. «Стоп! Стоп! Стоп! – вдруг кричит мне внутренний голос. – Ну-ка, остановись! Соберись с мыслями и сообрази, что происходит уже не то, чего ты опасешься! Ты вернулся в прекрасный лес, где вчера застал тебя ливень, с которого вместо благополучного возвращения домой началось твоё нелепое блуждание!» «Не может быть!» – думаю ошеломлённо, но убеждаюсь, что так оно и есть: лес тот самый, я им нечасто, но хаживал. Из этого леса, напрягши моё чутьё лесовика, я выйду, пожалуй, и без помощи солнца, даже в сумерках. Не оказался бы только счастливый поворот судьбы лукавым сном и не сойти бы мне с ума от радости...

Спустя час стою на гористой опушке в виду деревни; у ног моих – корзина с грибами. Вниз я не тороплюсь, прихожу в себя. Смотрю вокруг, облегчённо дышу и чувствую себя так, словно вышел я не из тёмного леса к людям, а вернулся к себе в Россию из чужой враждебной страны. Лес тут ни при чём. Я сам выбрал в нём ложное направление, а не он сбил меня с пути. В лесу – как в жизни: всякое бывает; и в жизни мне тоже приходится блуждать, как в лесных дебрях, с трудом находя дорогу. Мысли о лесе всегда уводят меня далеко; но сейчас ясно одно: я мог остаться в пуще навсегда, но счастливо отделался.

Над деревней поздний вечер и тишина. Её котловинную часть заполняет парное молоко – густой туман, погружающий в себя избы. Небо больше звёздное, чем облачное, и дождь, похоже, не предвидится – очень не хотелось бы мне под конец пути ещё раз вымокнуть. А на высоком холме деревни, с краю, вижу нашу избушку. В окнах горит электричество. Жена Вера, конечно, истомилась в ожидании меня, побегала по соседям, наслушалась советов и теперь не знает, что ей делать: то ли ещё понадеяться, то ли начать звонить в районный центр, заявлять в милицию о моём исчезновении.

Пройдут последние полчаса, и в дверях перед женой возникнет призрак мужа с корзиной грибов.

## В ожидании матери

Я сидел у себя в комнате на даче и усердно писал рассказ. Жена моя Вера, голубоглазая подруга жизни, пошла навестить знакомую, и я остался в желанном одиночестве, в полной «звенящей» тишине, которая устанавливается поздней осенью в деревне и неодолимо влечёт к самозабвенному литературному творчеству. Тишина эта – чуткая гостья, и она легко расстраивается слабыми колебаниями воздуха. Вдруг тебя насторожит сухое щёлканье крылышек по оконному стеклу, отчаянное трепыхание какого-то позднего мотылька, а как прислушаешься, – это стрекочет мотоцикл вдаль, и его технический стрёкот мало имеет общего с тревожными звуками борьбы за жизнь. Или звонко крикнет кто-то в другом конце деревни, а тыобразишь совсем иное: будто незнакомый человек поднялся на крыльцо и негромко зовёт хозяина. Или шустрый домовик, заигрывая с тобой, прошелестит тонкой ручкой по бревенчатой стене, неплотно оклеенной обоями. Или под осторожными шагами невидимки тихо скрипнет старая половица. Но призрачные звуки рождаются оттого, что в комнате тихо...

Дело было к вечеру. Я сидел и водил пером по бумаге, свыкаясь с интонацией рассказа и голосами моих героев, как вдруг ясно услышал посторонний голос и вздрогнул, узнав его. Это был голос моей покойной матери.

– Сынок... Сынок... – окликала она меня и дышала взволнованно, скорбно. – Сынок... Сынок...

Мать словно хотела на что-то посотовать, от чего-то предостеречь любимого сына, но не находила слов. Я сознавал, что её голос мне чудится, но жадно его ловил, ждал повторения.

Писать я тут же бросил, вышел на крыльцо и по деревянным приступкам спустился в огород. Овощи были уже собраны, и валок картофельной ботвы готовился к сожжению, но ещё бодро зеленел бессмертный лук-зимняк на грядке у частокола, да здесь и там горели оранжевым огнём выносливые цветочки «ноготки». Меня удручает вид мертвеющего огорода, особенно на закате солнца, и заглянул я сюда, повинувшись неодолимому внутреннему зову, странной убеждённости в том, что среди безжизненных грядок мне вновь послышится голос матери. Однако по моему желанию галлюцинация не повторилась. Мало-помалу я успокоился, хотя не забыл о случившемся...

Вышел за калитку и в размышлении постоял перед нашей с женой избушкой, пепельносерой от старости и многолетней добросовестной службы людям. Она построена в стороне от прочих изб, на отшибе селения. Вокруг много свободного места, луга и лужайки, за ними, то дальше, то ближе, сплошной лес, а фасадом наше крестьянское жильё обращено к глубокой котловине, где на дне расположилась основная часть большой деревни, приписанной к Селивановскому району Владимирской области. Картина, открывшаяся мне сейчас, тоже была не слишком радостной. Лес в это время года хмурился. Небо затягивалось тучами. Котловина наполнялась вечерним туманом, в нём ещё засветло – я часто это наблюдал – центральная часть деревни исчезнет, как Атлантида в пучине моря. Тишина в лесу и в деревне, на земле и в небесах. Грустно, уныло и не до литературной работы. Мне думалось о матери и о смерти, хотелось скорее увидеть жену и поехать с ней в город к внучке Анюте. Девочка с полмесяца как хозяйничала одна, утром самостоятельно поднималась, готовила себе еду и шла в школу. Мне было её жалко, и я скучал по ней.

Решил пройти по деревне, привести в порядок разум и чувства. Крутая тропа, повертевшись винтовой лестницей, ниже выровнялась и расширилась до велосипедной дорожки, а на дне котловины влилась в песчаную автомобильную колею, тянущуюся меж двух рядков домов. Дачники почти все разъехались. Деревенские, окончив полевые работы, занимались домашними делами, и никого на улице не было. Я спустился к реке и задержался на бетонном мосту у железных перил. Над водой разрослись деревья, и место тут образовалось живо-

писное, в летний зной тенистое и прохладное. Эта чистая вольная речка, для чего-то перед мостом запруженная известковыми глыбами, пробивалась сквозь плотину с большой скоростью и плескала, бурлила, рокотала, закручивалась на перекатах, обычно доставляя мне удовольствие слышать её сердитый шум и видеть стремительное движение. Я смотрел, прислушивался, но не мог сосредоточиться на быстро текущей воде. Перед глазами, как живая, вставала мать, юная и красивая. Шёл сорок второй или сорок третий год, разгоралась война, и мать служила в госпитале, а мы с сестрой ждали её с дежурства и к назначенному времени, взявшись за руки, спешили ей навстречу по улице Луначарского во Владимире, маленькие, несчастные, голодные и холодные. Завидев нас, она радостно вскрикивала, призывно раскидывала руки, и мы со всех ног кидались в материнские объятия... Я так сильно затосковал по ней, уединившись на мосту, словно до сих пор оставался ребёнком и ждал мать с работы. Мне даже начало казаться, будто она и не умерла вовсе, а излечилась от тяжёлой болезни; что же до разговоров о её смерти, то тут вышло какое-то недоразумение, что-то я перепутал, а может быть, увидел кошмарный сон, но вот проснулся и сознаю, что мать жива и скоро я с ней встречу. «Где ты? – думал я. – Без тебя мне плохо, нет сил и умения исполнить замысленные дела и понять важные события. Мне хочется пожаловаться тебе, без стыда проявить слабость, попросить совета и прощения. Приходи скорее...»

Услышав шаги, я повернул голову и увидел... мать. Она шла с заречной улицы, притуманенная, как видение, и вот приблизилась, грациозно пошла по мосту. Мать была в золотистом платье, в котором иногда летом прогуливалась с нами, детьми. Я часто её просил: «Надень его, пожалуйста! Надень!» – и взвизгивал от восторга, когда она надевала это платье. Мать шла в нём по мосту, и мне виделась на её неясном из-за тумана лице приветливая улыбка. Я, изумлённый, счастливый, тоже улыбался и протягивал к ней руку, а в другой мягко держал ручку младшей сестры Виолетты. Забыв, что я старый, я едва не воскликнул по-детски: «Мама!» Но она уже приблизилась, стала вполне видна, и разочарование сжало мне сердце: нет, это не мать моя, а чужая молодая женщина, такая же стройная, с похожей фигурой, одинаковой поступью. И не платье на ней, а приталенный плащ солнечного цвета. Дачница, наверно, не успевшая вернуться во Владимир или Москву. «Глупый! – сказал я себе. – Так недалеко и до тихого помешательства. Мать давно умерла. И сестра тоже. Все твои единокровные родственники умерли». По обычаю, принятому в деревне, я поздоровался с незнакомой женщиной, и она любезно ответила, а немного отойдя, дважды обернулась. Что-то её в моём виде озадачило.

\* \* \*

Живу в ожидании матери. Достигнув преклонных лет, я постарел лишь в том смысле, что обрёл жизненный опыт и морщины на лице. Душа моя навсегда осталась в детском возрасте. Многие считают меня стойким и уверенным человеком, но сам себя я нередко сознаю беспомощным и незащищённым. «Если бы рядом была мать!» – думаю я тогда.

Жизнь у меня складывалась интересно и насыщалась событиями; но я в ней часто сталкивался со злом, потому что был горяч, неблагоразумен и неосторожен. Столкнувшись же со злом, я шёл ему, вездесущему, наперекор, а оно этого не любит. Случалось, я и сам производил зло, давал ему объявиться в своем характере, и им же потом угнетался. И всегда мне прямо или косвенно в противодействии злу помогала мать. Я не имел привычки ей жаловаться, но искал у неё утешения. Мать не настаивала, чтобы я вполне ей открылся, но всё чувствовала, понимала и своим примером гордого независимого поведения поддерживала мои силы и надежды.

В раннем возрасте, когда я не мог ещё уразуметь, что в мире существуют морально-этические категории, пополам разделённые на добро и зло, я тяжело заболел и едва не умер. Помню, как мать приходила ко мне в больницу. Она являлась каждый день, утром или вечером; к её приходу я часто бывал в забытии, бредил и видел мать сквозь зыбкую пелену, но, очнув-

шись, тянулся к ней, прижимался щекой и губами к материнской руке. Она ставила на тумбочку у окна раскрашенную детскую корзинку, летом с какой-нибудь спелой ягодой, а зимой с конфетами, печеньем – дарами военного госпиталя, в котором работала, – и её родное светлое лицо, озаряющее мою палату, и эта нарядная драничная плетёнка, полная чудесных гостинцев, навсегда врезались мне в память, как символы яркого сказочного праздника. Матери позволялось ночевать в палате, и она, уговорив мою сестру побыть дома в одиночестве, нередко всю ночь сидела возле меня, поправляла подушку и прислушивалась к дыханию сына, а потом закрывала глаза, свешивала голову на грудь и задремывала. По её воле я выжил, защитился от гибели материнской любовью и жертвенностью. Так, лишь другими словами, впоследствии говорили врачи. Ещё не открыт закон передачи сил и здоровья от любящего человека к любимому, но он существует и проявляется...

В памяти держу и то, как после болезни я словно с цепи сорвался, а сделавшись постарше, вовсе «оборзел» и, безумно расходуя накопившуюся энергию, повёл себя в школе чрезвычайно плохо. Озорного, дерзкого ученика временно исключили из школы. Мать рассердилась и наказала меня хлёстким упреком, от которого, как от пощёчины, кровь ударила мне в лицо: «Спасибо, сынок! Не ждала от тебя!», – но, вероятно, тем бы дело и кончилось, если бы бес не попутал меня сильнее прежнего и не познакомил с приبلатнёнными ребятами, с которыми я вскоре распил хмельную бутылку, затерявшись в густом кустарнике на склоне владимирского Козлова вала. В непотребном виде, в надвинутой на бесстыжие глаза восьмиклинной кепке я вышел на центральную улицу у Золотых ворот и встретился нос к носу с одним из наших педагогов. Школьный комитет постановил выгнать меня из комсомола; и тут мама, пересилив горькую обиду, вновь кинулась спасать сына, теперь сыновью душу. Худо бы мне пришлось, не защити она меня: выгнать из комсомола значило навеки искривить и покалечить судьбу. К тому же моё изгнание из политической организации не только опорочило бы доброе имя матери, но оскорбило бы лучшие её чувства. Ведь она была твёрдой, убеждённой коммунисткой, а в прошлом романтической комсомолкой...

Я служил матросом торгового флота, и мать приехала ко мне на пароход, вставший под разгрузку в Ленинграде. Я встретил её и провёл в порт. Когда мы с ней поднимались по трапу и мать держала меня под руку, на берег, при полном параде, степенно сходил старший механик, по-моряцки, «дед», безвредный ворчливый старикан с седыми усами «щёточкой». Покосившись на даму, он отозвал меня в сторонку, притиснул к леерному ограждению трапа и сердито свёл глаза к переносице. «Молоко на губах не обсохло, а бабу привёл на пароход! Не совестно?» Я ответил, что это не «баба», а родительница моя, издалека приехавшая к сыну в гости. «Дед» смутился, стал извиняться и кланяться, и, спускаясь дальше по трапу, он всё оборачивался и кланялся нам обоим, так что под конец запнулся и едва не упал. И пока мама гостила на пароходе, он при встрече с ней старомодно расшаркивался, разглаживал усы, а потом шептал мне, какая у меня замечательная мать. По-моему, «дед» в неё влюбился. Если же не влюбился, значит, проникся к женщине особым трепетным уважением. И не только он, а и капитан, и старпом, боцман, плотник, вся команда, уставшая от дальних странствий и мужского общения, очаровалась, я видел, моей матерью. Её звали обедать то в кают-компанию, то в столовую рядового состава. Она была весела, остроумна и даже кокетлива, и я удивлялся тому, как она могла оставаться такой моложавой и бодрой после всех испытаний, выпавших на её долю: бегства под бомбёжкой из родного города, мытарств в эвакуационном пункте с двумя малолетними детьми, безвременной кончины дочери и иных несчастий, о которых говорить не хочется...

Потом обострилась моя болезнь. При некоторых обстоятельствах суровой моряцкой жизни недуг, таившийся много лет, возобновился со страшной силой, я попал в госпиталь, и родительница, извещённая телеграммой из Северного пароходства, тут же примчалась ко мне в Архангельск. Опять я стал маленьким и беспомощным. Мать кормила меня с ложечки, ставила мне градусники, меняла постельное бельё и ночи напролёт дежурила возле сыновьей постели,

а утром рассказывала анекдоты, пошучивала, посмеивалась, точно в весёлую минуту в обычной обстановке. Откуда я мог знать, что врачи уведомили её о том, что отрежут мне худую руку, если скоро в течении болезни не наступит крутой перелом? Слава Богу, обошлось...

Пособие по инвалидности мне установили скудное, и матери пришлось содержать меня и долечивать, но главное, подкреплять мой дух, ослабевший после краха заветных надежд, для исполнения которых требовалось отличное здоровье. Она не учила взрослого сына, как ему жить дальше, не раздражала скучными наставлениями – просто всегда была естественна и примерна: свежа, подтянута, жизнерадостна, хотя уже чувствовала, вероятно, что её саму подтачивает недуг, так как вдруг уходила в больницу и возвращалась молчаливая, задумчивая. Кроме всех случаев беззаветной службы сыну, выхваченных тут мной на ходу из памяти, мать ещё успела помочь мне жениться, поступить в институт, обласкать нашего с женой первенца, потом слегла, свалилась, как подрубленная, и когда я, будучи студентом, приехал к ней в последний раз, она умирала на больничной постели, похудевшая, тихая, но удивительно светлая и мужественная.

Она умерла нестарой, чуть более пятидесяти лет. Я уже сам состарился, но до сих пор, как ребёнок, стремлюсь к матери. Когда мне трудно, её дух слетает ко мне с небес, я ощущаю его мистическое влияние и делаюсь разумнее, смелее и увереннее. Я знаю, что она не придёт, но жду её и ищу её образ в лицах случайных людей, а иногда обращаюсь к матери, не торопя, а сознавая своё неуклонное приближение к вечности: «Скоро мы встретимся, мама, и не расстанемся больше никогда».

\* \* \*

Темнело. Туман набирался в котловину, и окрестности всё больше размывались в нём. Я озяб на мосту, съёжился и побрёл домой. Жена ещё не вернулась от знакомой. Я залез на тёплую лежанку, пригрелся и заснул под поскрёбывание какого-то жучка за обоями, а во сне испытал великое ребячье блаженство от прикосновения материнской руки к моей голове. «Сынок, сынок, – шептала мать, – не тоскуй обо мне. Я с тобой. Не тревожься, спи, а я рядом посижу». Прикосновение было слишком естественным и настойчивым, от него я и проснулся и в сумерках разглядел жену, она стояла перед печкой и трепала меня по волосам.

– Эй! – звала меня Вера, передавая голосом хорошее настроение. – Ты спишь? Я молока принесла! Вставай-ка поужинай, а потом разденься и ляг спать по-человечески!

Я понимал, что это жена, и одновременно сомневался, так как не вышел из сна окончательно и сохранял в себе образ матери. Но когда Вера зажгла электрический свет, я сообразил, в чём дело: материнские черты в её облике и поведении я давно заметил, а с годами они выявились сильнее.

– Мне снилась мать, – сказал я. – Я принял тебя за неё.

– Немудрено, – ответила Вера и тихо засмеялась. – Жена для мужа – что? Возлюбленная плюс нянька. Чем меньше в ней возлюбленной, тем больше матери, а к старости остаётся только одно качество.

## Как мы клали печь и чинили крышу

В избе у нас стоит хорошая русская печка, с широкой лежанкой, просторной топкой, в которой можно париться, как это делалось в деревнях ещё не очень и давно: в Великую Отечественную и позднее, – а дрова в ней занимают огнём живо, весело: поджёт завиток бересты, кинул под поленья, сложенные клеткой – и запылало, загудело, пошло варить щи, картошку и нагревать лежанку.

Требовалось нам с женой Верой Владимировной сложить печь во дворе, для скорой стряпни и заготовки на зиму варенья, маринованных грибов. Искали мы мастера, но, кажется, настоящие печники тут вывелись – не по дням, а по часам выводятся и сами деревни, как прекрасная заповедная дичь, на которую с боевым оружием охотятся с вертолётов браконьеры. Знакомые сообщили, что пара кустарей где-то здесь ещё обитает, не особых умельцев, но таких, что некогда держали в руках кирпичи и мастерки, однако из-за полной своей ненадобности эти малоквалифицированные печники, скорее всего, напрочь разучились класть печи. Один из них, с бегающими глазами, средних лет, желтоусый, в резиновых сапогах, с холщовой сумкой на локтевом сгибе, сам возник однажды и предложил свои услуги, но опять вмешались знакомые, посоветовали не связываться. Уж мы с женой решили самостоятельно построить уличную печку. Нашли в земле хорошую коричневую глину и чистый песок, поискали и конского навоза, чтобы укрепить строительный раствор (но какие там кони! Какие лошади! Корова, и та сохранилась в деревне в единственном числе!); предприниматель местный Саша Сергеев дал бесплатно чёрных жаростойких кирпичей, и вот в начале лета не сведущие в печном строительстве городские люди взялись было за дело, но тут к нам пришли двое небритых молодых мужчин. Они крикнули через изгородь во двор:

– Эй, хозяйка! Вы дома?

Потом приблизились к избе и стукнули пальцами в окно.

Мы с женой вышли к ним за пределы усадьбы, на зелёную лужайку, и мужчины попросили у нас взаймы. Не много им надо, сказали.

– Как же мы вам дадим, – ответил я, – если совсем вас не знаем?

– Отец! Мы русские люди! – заорал, вытаращив глаза, явно младший возрастом, но, судя по его бойкости, главный зачинщик авантюрного похода к нам. – Мы поймём друг друга! Что я, по-твоему, совесть за рубли продам? Ты меня даже как-то обижаешь!.. Спроси любого – я за речкой живу, – обманул хоть раз Юра кого-нибудь? Меня все знают и уважают! Я дачникам и местным дрова колю, крыши крою, заборы ставлю, траву в огороде могу выкосить! Только свистни, и Юра тут как тут! Валька такой же! Честня-яга! Честнее его не найти! Пусть сам скажет! Только он стесняется! Не стесняйся, Валька!

Длинный чернявый приятель Юры, весь какой-то изнурённый, с продольными морщинами на щеках, успел присесть на брёвнышки, приготовленные мной для замены в ограде подгнивших опорных столбов. Он был не просто малообщителен, но, по-моему, совсем не умел говорить. Съёжившись, запахнув полы мятого пиджака и схватив себя за плечи, Валентин мелко трясся и только мычал.

– Что он трясётся? – спросил я.

– Озяб, – ответил Юра.

– Как же он мог озябнуть, если на улице жара, тридцать два градуса в тени? Ты вон весь потный. Рубаха нараспашку. Волосы ко лбу прилипли.

– У него организм такой. Валька мёрзнет в жару, а может, чем-нибудь заболел... Ну, давай, отец, решим главный вопрос. Займи полсотни. Через неделю лично я тебе верну. Честное слово! Гадом буду!.. Как тебе ещё поклясться? Пусть язвами покроюсь или издохну!.. Никогда Юра совесть не продавал! Каждый подтвердит!..

– М-м-м... – произнёс я.

– Ты что, отец, не веришь? – Он развёл руками, а лицом выразил полную свою праведность и обиду за то, что я его праведности не замечаю. – Тогда я удивлён! Очень! Не знаю, что сказать! Деньги нужны до зарезу, крайний случай! Может, от полсотни рублей наша с Валькой жизнь зависит!.. Хозяйка твоя вон верит! Правда, хозяйка?

Валентин продолжал мычать и трястись. Вера Владимировна ехидно улыбалась, а Юрию, наверно, чудилось, будто она смотрит приветливо. Я-то давно усвоил все разновидности улыбок своей жены.

– Ты красивая! – сказал он и подмигнул ей. – Старая, а ещё ничего! Глазами-то голубыми так и зыришь, так и играешь! Как конфетки глаза!.. Что ты в нём нашла, в муже своём? Он уродливый по сравнению с тобой! Как это, интересно, у вас получилось, что ты за него вышла? Лучше, что ли, не было?

– Эй, придержи язык! – одёрнул я его. – Ишь, разошёлся, петух ободранный!

На петуха Юра похож не был. Невысокий, коренастый, с крепкой шеей, он скорее напоминал дубовый пенёк.

– А заревновал, гляди-ка! Заревновал! Не обижайся, отец! Шучу ведь! – Я не успел увернуться, и он хлопнул меня ладонью по спине. – Ладно, не верь!.. Дело твоё! Тогда купи у меня кровельные гвозди! Вот, ровно два кило! Отдам задёшево!

Тугой мешочек висел у него на плече. Юра показал мне мешочек, пощупал гвозди, они под его пальцами хрустнули.

– Гвозди нам не нужны, – ответил я. – У самих запас. Хотим крышу рубероидом перекрыть, а то кое-где протекает, старая. Вот и купили всё заранее, и гвоздей достаточно, и рубероида десять штук.

– Крышу? Рубероидом? – Он даже припрыгнул немного. – Что же ты, отец, сразу не сказал? С этого надо было начинать! Это же наш с Валькой хлеб! Основная работа! Так перекроем вам с хозяйкой крышу, что ахнете, закачаетесь! Других не зовите! Неизвестно, что будут за люди, может, жулики! А мы – вот они, перед вами! Душа нараспашку! Очень вам повезло!.. Ну, пошли, показывайте! Всё сейчас обсудим, а завтра с утра начнём!..

– Чинить крышу – у нас пока на втором плане, – сказал я. – А в первую голову надо печку во дворе сложить. Уже земляники в лесу полно. Пока вот солнце жарит, а как зарядят дожди, грибы во множестве нарастут. Надо будет варить то и другое. В русской печке ягоды и грибы варить затруднительно. Нужна уличная. С ней вообще удобно.

– Уличная печка? – опять заорал Юра. – Ну, ты, отец, даёшь! О самом главном молчишь! Печки складывать – для нас ещё главнее, чем крыши крыть! На крыше пару дней просидишь, а печку во дворе мы слепим за пять часов! Таковую отгрохаем – залюбуетесь! Друзей кликнете смотреть! Глина нужна, песок, цемент!.. Нет, говоришь, цемента? Чего-нибудь такого добавим!.. Место, хозяева, заранее выберите! Потом за крышу возьмёмся! По рукам? Ну, до завтра! Просим выдать небольшой аванс!

– С какой стати мы должны платить вам вперёд? – произнесла Вера Владимировна хорошо поставленным учительским голосом. – Выполните работу и получите всё сполна.

Уже расхвалив мою жену, Юра отступить от своих слов не мог. И вообще он заметно преклонялся перед такой величавой дамой, волевой, благородно поседелой, культурной. Неожиданно болтун сробел. Красноречие его оборвалось. Со мной-то, человеком посредственных манер, чернорабочей внешности и дурного произношения (к старости пошли ломаться зубы), он говорил запросто, а перед хозяйкой стих, съёжился.

– Уступи, госпожа! – заканючил он. – Выдай аванс! За нами дело не станет! Всё выполним, как надо, не подведём! Не можешь дать полсотни, дай тридцать рублей!

– С какой стати? – повторила Вера Владимировна.

– Ну двадцать! Ну, хоть десять!

– Нет. До окончания работы – ни копейки.

– Строгая ты больно! Принципиальная!.. Надо нам, понимаешь?

– А мне-то какое дело? Были бы вы нищие, голодные, я бы вам подала, обедом накормила. На вид вы вполне сытые, гораздо упитаннее моего мужа. Гвозди вон продаёте. Есть, значит, на что жить.

– Подожди, – вмешался я. – Ведь неплохие ребята. Зачем обижать их недоверием? Жулики разве так себя ведут?.. А эти, сразу видно, искренние, простые. Посмотри, какие у Юрия честные глаза. Тут всё дело в глазах, милая. С такими глазами человек не может обмануть. Давай уважим. Придут – отработают.

– Я бы не уважила, – сказала Вера.

– По-моему, всё-таки надо уважить. Душа у людей горит. Бывают такие обстоятельства...

– Ты хозяин, тебе решать.

Сдалась жена, я видел, лишь потому, что не захотела уронить честь мужа.

Я зашёл в избу, вынес пятьдесят рублей и отдал Юре. Поблагодарив меня с непосредственной детской улыбкой и со смущением, которое особенно расположило меня к просителю, горячо пожав и встряхнув мою руку, он сказал Вере Владимировне:

– Вот твой муж – он понял! Нужно доверять людям! – И, уже пятясь, позвал Валентина, а нам ещё приветливо махнул издали рукой, крикнув: – Пока! Завтра будем ставить печку! Ждите!

Валентин встал с брёвнышек и поплёлся за товарищем. Он так и не вымолвил ни слова, но, определённо, согрелся, повеселел. Больше мы ни того, ни другого не видели. Сколько лет минуло, а о Юрии и Валентине ни слуху, ни духу. Наверно, бегают от кредиторов.

\* \* \*

Друзья-соседи, тоже городские люди, посмеялись над нами и сообщили, что Юрий с Валентином – известные в этих краях пройдохи. Они шляются без дела по весям и облапошивают легковёрных дачников. (Почему-то некоторые селяне считают, будто все дачники – богачи.)

– Они сперва у нас побывали, да мы их выгнали, – сказали друзья. – Знаем, что за райские птицы, надули как-то раз.

– Сами-то что же следом за ними к нам не пришли, отвести ещё одно надувательство? Не поняли, куда они направляются? – спросили мы с женой.

– Поняли. Видели, – последовал чудной ответ, весёлый, разумеется. – Но захотелось услышать, что и вы потерпели убыток, а потом взглянуть на ваши физиономии. Почему одним нам должно быть плохо?..

Вознегодовали мы, конечно, помыли кости пройдохам; но нужно было выполнить задуманное, построить уличную печь.

Вера Владимировна по каким-то хлопотам уехала в город. Я захотел приготовить ей сюрприз и пошёл по нашей большой деревне, спрашивая всех подряд, не знает ли тут кто-нибудь хорошего печника. Встретилась мне крестьянка Портнова, старая, натруженная тяжёлой работой и, как утица, переваливающаяся на ходу. Она вспомнила, что знает одного мастера. Он из соседней деревни, но здесь гостит часто, ездит или ходит пешком к родственникам и друзьям. Крестьянка сказала, что зовут печника Шестёркиным Николаем Ивановичем, и подробно обрисовала мне его.

– О-о-чень хороший специалист! – добавила она. – Многим тут печи клал, и председателю совхоза, бывало, и директору школы, всем, кто позовёт, и мне вот тоже...

– Сильно пьющий?

– Господь с тобой! – Крестьянка махнула на меня тяжёлой бурой рукой с узором из вспухших вен. – Совсем не пьёт. Раньше, правда, пил запоями, а сейчас в рот не берёт, язва у него.

– Прекрасно! – сказал я и, расставшись с Портновой, стал искать Шестёркина.

Дня через два я встретил его утром в магазине. Очередь тут к прилавку обычно невелика, но тянется долго: местные жители и дачники любят побеседовать о жизни с продавщицей Галей и друг с другом (старики вообще устраиваются по-домашнему, есть в магазинчике несколько стульев). Заговорил и я с соседом, стоявшим передо мной. Обратив внимание на тщедушного маленького старичка, подходящего под описание Шестёркина, я наклонился к его уху и тихо поинтересовался:

– Скажите, пожалуйста, вы печник?

– Печник, – ответил он через плечо. – А что?

– Николай Иванович Шестёркин?

– Он самый.

– Очень рад, – сказал я, – что вас встретил. Вы-то мне и нужны, просто необходимы.

– Ну, раз нужен, выкладывайте, зачем я понадобился.

Шестёркин повернулся в очереди, и я увидел сухое, морщинистое, хорошо выбритое личико, хитроватые глаза с жидкими ресницами. Одет печник был опрятно: в серый хлопчатобумажный костюм с полосками, вытершийся, правда, и потускнелый. Такие дешёвые костюмы, носимые, главным образом, деревенскими интеллигентами, раньше продавались в сельпо – сельских кооперативных магазинах. Под пиджаком у Шестёркина поверх чистой рубашки висел узкий чёрный галстучек, на голове глубоко сидела тонкая летняя шляпа с дырочками.

– Да печку мне надо поставить во дворе, – объяснил я. – Говорят, вы очень хороший специалист. Не возьмётесь ли?

– А кто говорит, что я хороший?

– Многие. Портнова Варвара Алексеевна... И другие.

– Так оно и есть, – согласился Шестёркин. – Кроме меня-то кто у нас в округе ещё печники? Климов с Александровым, что ли? Это не работники, а так себе, шалопуты. Плиту кухонную и то сложить как следует не могут, а уж голландки ихние, тем паче русские печки только дрова жрут и дым в избу пускают... Значит, вам во дворе надо?... А вы, уважаемый, кто?

Я назвал, рассказал, где живу, и попросил его, если можно, начать строить печь сегодня. К возвращению жены хочется успеть, говорю, сюрприз приятный ей готовлю.

– Там поглядим, подумаем, – сказал Шестёркин. – Прикинем свои возможности. Сегодня у меня всё одно не получится, другие есть дела. А завтра, может, зайду. Вы на всякий случай подготовьтесь.

– Стало быть, можно надеяться, Николай Иванович?

– Ладно, надейтесь. Я поднимаюсь рано. Будильник заведите на шесть часов...

Ровно в семь он явился ко мне и на высоком пристрое крыльца выложил из облезлого чемоданчика синюю робу, железный складной метр, ватерпас, мастерок, ручник и гирьку на шнурке – отвес. Войдя в сени, печник снял с себя дырчатую шляпу, парадный костюм, у которого лацканы пиджака завернулись, как сухие листья, а брюки давно утратили складки, снял галстук, рубашку и всё развесил на настенных крючках рядом с нашими плащами и телогрейками. Надев рабочие штаны и куртку с хлястиком, испачканные известью и краской разных цветов, натянув на лысую голову старую кепку, он глянул на меня с прищуром, как портретный Ленин, и сказал:

– Ну-с, приступим.

– Может, сперва чайку? – спросил я. – У меня всё готово.

– Нет, допрежь поглядим, покумекаем. Торопись, как говорится, не спеша, тогда дело лучше идёт...

Мы пошли во двор. Место для печки я наметил за пределами огорода: ровный участок между сиреневыми и терновыми кустами, недалеко от бокового прохода в заваливающемся частоколе (тоже надо было поправлять). Я даже заранее обозначил штыком лопаты прямоугольник небольших свободных размеров – проекцию плиты, – а потом серпиком срезал на нём вихры перистой травы, оболванил строительный участок «под Котовского». Посмотрев на мои труды, печник одобрительно хмыкнул.

– Годится. Тут и сложим печурку.

– Давайте схожу за инструментом.

Я уже чувствовал себя подсобным рабочим, готовым прислуживать мастеру, быть у него на побегушках. Шестёркин отмахнулся.

– Успеем за дела взяться. Пошли в избу. Посидим, сосредоточимся.

В избе я сказал:

– Чудесно. Чаю попьём. Я ведь ещё и не завтракал.

Он ответил:

– Нет – чай после. Для начала грамм по сто неплохо было бы опрокинуть, промочить горло. У меня такое правило. Ставьте, Вениамин, на стол бутылку, а чайник и чашки пока убирайте. Выпьём по пять капель, покурим и засучим рукава. Редиска, я видел, у вас на грядках хорошая растёт, давайте её на закуску, с маслицем. Лучку ещё зелёного нарвите. Можно и чесноку по пёрышку.

Конечно, я оторопел, вспомнив решительное заявление крестьянки Портновой о великой, святой трезвости Николая Ивановича, о его язве. Хотел спросить Шестёркина про язву, но подумал, что разговор у нас с ним заведётся бесполезный и бессмысленный. Разозлился я на печника и стгоряча едва его не прогнал, однако взял себя в руки и лишь затянул ответ. «Может, шутит старичок? – подумалось мне. – Испытывает на прочность?» А он глянул простодушно и смягчил своё условие:

– Ну, ежели нет бутылки, то ладно, ничего. Можно и так. После купим. Работа, конечно, толком не пойдёт, но уж не обессудьте...

– Почему? – Я вроде даже обиделся на Шестёркина за уступку с его стороны, как бы скидку на бедность. – Водка у меня есть. Купил для лечебных целей. Если хотите выпить, извольте. Посидим вместе. Только как это отразится на работе? Не запорем мы печку?

– Никогда! – сказал он. – У меня, как выпью, глаз становится острее и рука твёрже. Не сомневайтесь, Вениамин.

– Добро, – сказал я суховато. – Пейте, раз у вас потребность и правило. Почему только вы зовёте меня Вениамином? Кажется, я представлялся Альбертом.

– А! Прошу извинения, вылетело из головы! Буду называть Альбертом! У меня на имена память плохая...

Я наскоро приготовил холодную закуску: салат с картошкой, зелёным луком, чесноком и укропом, а отдельно порезал редиску. Молча выпили по стопке, крикнули, заели и остановились. Шестёркин повёл себя достойно. Когда я собрался налить ему вторую стопку, он прикрыл её ладонью.

– Всё, Альберт. Баста. Пей, а дело разумей. Это у меня тоже правило.

Отказался он пока и от чая, попил ключевой воды из ведра в сенях и сел на дощатую ступеньку крыльца, а я примостился рядом. Неторопливо выкурил печник сигарету, почему-то внимательно поглядывая сбоку на меня, некурящего, встал и опять натянул на голову кепку. Захватив инструмент, мы пошли работать, и кладка уличной печки запомнилась мне на всю жизнь.

По указанию Шестёркина я взял лопату и часть заготовленной подсохшей глины переложил из помятого стирального бака в поржавевшую бадью. Залив глину водой и засыпав песком, я палкой замесил раствор, разбил в нём все комки и удостоился похвалы мастера.

– Эх, жалко цемента нет! – посокрушался печник. – Или хотя бы навоза!

Он велел подать ему несколько плоских белых камней. Эти камни, известняк, ежегодно слой за слоем поднимаются у нас в огороде из глубины земли к поверхности, и, перекапывая грядки, я усердно работаю не только лопатой, но и ломиком. Я притащил несколько разновеликих плит, сложенных на всякий случай у сарая (грядки обнести для удержания влаги, или вот – для строительных целей); Шестёркин положил известняк в основание печки и постучал по плитам ручником, выверяя «горизонт» с помощью ватерпаса. Потом я подавал ему кирпичи, а он обмазывал их раствором и пригонял один к другому по намеченному прямоугольнику. Солнце, поднявшееся из-за леса, выплывало на простор чистого неба. День разгорался жаркий. Нынче в начале лета (ещё сирень и терновник у нас в усадьбе не совсем отцвели) была засуха, и расплодились комары с мошками, чёрными тучами они витали над нашими головами и всё сильнее кусались. Шестёркин мало обращал внимания на кровососов, работал спокойно, добросовестно, и я любовался тем, как он шустро действовал маленькими руками в защитных рукавицах, иногда тихонько напевая озорные частушки.

С час потрудившись, он убил комара на лбу, положил на возводимую кирпичную стену мастерок, рукавицы и объявил:

– Перекур! Хлопнем ещё по черёпке, а тогда и продолжим с новыми силами!

Мог ли я, когда дело во всю развернулось, сказать ему: «Не надо бы «хлопать»-то, ни к чему. Пользы всё равно не будет, только вред»? Я ведь и сам уже проштрафился: вместе с Шестёркиным почал бутылку и тем поспособствовал коллективному пьянству на работе.

Мы с ним опять выпили, и теперь Николай Иванович спросил крепкого чаю. Посмаковав его с конфеткой, он закурил в избе при закрытых дверях, так как снаружи всё настырнее досаждали комары и мошки. Немало их залетело и в комнату.

– Вы, Альберт, из каких слоёв будете? – спросил он сквозь воткнутую в рот сигарету, которую придерживал между вытянутыми пальцами. – Из буржуазных? Небось, начальником работали?

Я ответил, что начальником никогда не был и не собирался быть – это не моё. Хороших начальников люблю, среди них есть у меня друзья, но сам не тратил жизнь на то, чтобы выбиться в начальники.

– На что же вы её трагично, жизнь свою?

– На то, что интересно было мне. По морям плавал, корабли строил. В качестве не начальника, а рядового.

– А! Но всё же вы человек непростой, сразу видно. Слышал, будто книжки пишете. Правда ли?

– Ну... кое-что пишу. Пописываю.

– Вот видите. А говорите – из рядовых. Лукавите, значит.

В его представлении, я понял, писатель был сродни директору завода, губернатору, депутату Госдумы. Я не стал разубеждать его в этом и убеждать в том, что я – самый, что ни на есть, простой человек. Решил, что не смогу толком объяснить.

– И о чём же таком вы пишете? – спросил Шестёркин, скосив на меня хитрый зеленоватый глаз, притуманенный дымком от сигареты. – Выдумываете, или из гущи жизни?

– Из гущи, – ответил я. – Из недр. Из бездны.

– Салтыкова-Щедрина всё одно не переплюнете, – сказал он. – Михаила-то Евграфовича.

Мне хотелось узнать, почему не переплюну именно Салтыкова-Щедрина, а, к примеру, не Достоевского, но печник заговорил уже о другом, в застолье – о главном. Он взял бутылку со стола и, взболтнув остатки содержимого на фоне солнечного окна, произнёс:

– Осталось там ещё. Не высохло.

– Может, картошки сварить? – спросил я.

– Обойдёмся. Лучок, чесночок, хлебушек есть, ну и ладно.

Вернулись во двор. Печник помахивал мастерком, пристукивал деревянной рукояткой по кирпичам, и они послушно ложились один на другой, а лишнюю кашлицу глинистого раствора, выступавшую меж кирпичами, Шестёркин экономно соскребал и стряхивал в ведро. Кирпичей оказалось недостаточно. Я спускался под гору к дому Сергеевых и по договорённости с другом-предпринимателем брал его кирпичи, вынесенные за изгородь. Чёрные, жаростойкие, они были крупнее и тяжелее обыкновенных красных, не встречавшихся в штабеле. Одежда моя и рукавицы трещали от кирпичей. Старые кости и мускулы болели. С парой штук в руках, на плечах или под мышками я едва входил в крутую гору, принятое внутрь спиртное вытекало через поры моего тела, разогретого солнцем и трудовым напряжением. Снял с себя мокрую от пота рубаху, остался по пояс голый. Боялся, замучит гнус, но, видно, опьянение действовало обезболивающе, и от укусов комарья и мошкар я не очень чесался. Волосы мои слиплись под дырявым беретом, проеденным молью ещё в городе; испарина капала на глаза, они разъедались солью и ослеплялись мельтешением в них радужных пятнышек...

На новый передых я двинулся мелкими зигзагами, рывками. А Николай Иванович – ничего, каким был, таким, кажется, и остался, загорел только до глянца, закоптился на неистовом солнце, как окорок. Он умылся в сумеречных прохладных сенях из рукомойника и, не теряя минуты, пошёл к столу. Мы с ним выпили по третьему разу и, закусив, по четвёртому, прикончили бутылку. Куря, Шестёркин кивком указал на моё обнажённое тело.

– Колдун вы, что ли, какой-нибудь, что комары и мошки вас не заедают? Я вот вроде терпеливый, а и то почёсываюсь иногда сильно.

– Гнус не выносит алкогольного духа и вкуса разбавленной спиртом крови, – ответил я припухшим языком. – В вашем организме водка из желудка поступает в мочевой пузырь, а в моём перемешивается с кровью и частично выходит с потом. Одни комары и мошки, усевшись на меня, засыпают, другие окоचуриваются. Пол вокруг моей табуретки замусорен кровососами.

Шестёркин засмеялся, и сказал:

– А вы весёлый. Это хорошо. Я тоже не унываю. Плакать хочется, а всё одно смеюсь. В детстве я очень шавутной был, первый озорник в деревне, коноводил мальчишками, любил подраться. Как вырос, дрался часто, даже в тюрьме за драку сидел. Не гляди, что ростом мал, а если заеду в ухо, на ногах не устоишь! Приварю так приварю! Не обрадуешься!..

Глянув на его жидкую комплекцию, тощую грудь, на, пусть трудовые, но тонкие руки с небольшими кулачками (печник показал мне крепко сжатый кулачок), я всё же усомнился в способности Шестёркина к рукопашному бою. Однако, кто его знает, подумал. Бывает, говоришь о задиристом мужичке: сморчок, доходяга, соплёй перешибёшь, – а он вдруг, как схватиться с ним для усмирения, сделает тебя одной левой, и нос в кровь расшибёт, и на землю свалит.

– А поди ж ты, – заключил Николай Иванович свои воспоминания и приосанился, – вырос неплохим человеком, стал известным печником... Вы вот что, друг любезный, пока я тут курю, сбегали бы в магазин, взяли ещё бутылку.

– Ни за что! – крикнул я и шлёпнул ладонью по столу.

Он глянул в мои окосевшие глаза с некоторым недоумением, но настаивать не стал...

Туловище печки увеличивалось, оформлялось, и скоро Шестёркин перекрыл топку чугунной плитой с конфорками, завалившейся в нашем с женой сарае, а потом взялся возводить трубу. Мне казалось, будто два печника-близнеца одновременно и согласованно кладут две одинаковые печи, и по паре кирпичей я видел в каждой своей руке, хотя, как прежде, брал в руку из штабеля по одному, и различал я две тропинки вместо одной, пока корячился с грузом в гору. И щурился, и глаз замуривал, чтобы восстановить фокус зрения, но всё двоилось передо мной, и меня покачивало из стороны в сторону.

Теперь Николай Иванович со мной не заговаривал. Печники-близнецы сурово молчали. Я видел, что Шестёркин обиделся на меня. Строя дымоход, он старательно мерил верёвкой с

гирькой отвесность трубы и через плечо жестами показывал: «Кирпич! Раствор!» Он то отходил от трубы и рассматривал её издали, то вставал на сосновую колоду ногами в маломерных стоптанных полуботинках, вытягивался на цыпочках и снова использовал отвес. При этом что-то бормотал недовольно, не обращая на меня внимания.

– По-моему, высоковата, – сказал я, закрыв один глаз пальцем и уставясь на трубу.

И тут он заговорил с достоинством, но миролюбиво, даже с едва уловимым юмором:

– Не суетитесь. Всё будет путём. Ещё вспомните Шестёркина, как затопите мою печку.

И пожалеете, что не выпили со мной посошок...

Заканчивали мы работу к вечеру, сумерки уже спускались. Над белым цветником терновника и фиолетовым букетом разросшейся вдоль плетня сирени, на фоне темнеющего неба кружили майские жуки. Всё вокруг застыло в безветрии. Комары с мошками кусались совсем беспощадно, и Шестёркин чаще хлопал себя по лбу, щеке, шее. Он уже навесил на печку железную дверцу с накидной запоркой и сейчас подкреплял трубу тонкой стальной проволокой, примазывая её раствором к кирпичам по высоте дымохода (всё нашлось в нашем сарае, захламенным разными деревяшками и железками). Наконец печник снял рукавицы и протянул мне руку для пожатия.

– Ну вот, Василий, – произнёс он. – Шабаш. Пользуйтесь, топите, жарьте, варите, а за работу денежки гоните.

Я поскорее с ним расплатился договорной суммой, проводил Шестёркина до тропинки, сбегавшей с косогора, и, зайдя в избу, тут же лёг спать – очень уж устал за день, еле ноги держали.

Но на следующий день Николай Иванович пришёл снова, в том же парадном виде: в костюме, шляпе и при галстуке. Он помялся передо мной на крыльце и заговорил, глядя в пол, морщась от стеснения:

– Я извиняюсь... Работа, сами видели, какая. С раннего утра до позднего вечера вкалывал; и солнце жарило, и мошкара кусала. И кирпичи эти огнеупорные... Руки и ноги до сих пор от них гудят. Жена, опять же, заболела, лежит, я за ней ухаживаю... Может, прибавите?

– Что? – спросил я, туговато соображая после выпитого вчера.

– Ну, за работу. На лекарства для жены. Я с вас взял недорого.

– Сколько ещё надо?

– Неплохо бы прибавить столько же, уважаемый. Извините, конечно.

– Ладно.

Я позвал его за собой, но он остался на крыльце покурить. Взяв дополнительную плату и спрятав в кошелек, Шестёркин посветлел, разулыбался. Он вынул из кармана спираль для электроплитки и предложил мне:

– Может, купите? Вольфрамовая, сто лет не перегорит.

– Спираль мне вроде ни к чему. У меня есть.

– Да берите. Что раздумываете? Всё равно нигде такую больше не купите.

– Один мастерской заходил – гвозди старался нам с женой всучить, вы вот – спираль, – произнёс я уже откровенно кисло. – Хорошо, давайте...

И, не торгуясь, купил, чтобы поскорее отделаться от печника.

– У меня ещё одна к вам просьба, – сказал он.

– Ну?

– Подарили бы мне свою книжку на память, а? Сделайте одолжение. И что-нибудь хорошее на книжке напишите.

Эту его просьбу я тоже удовлетворил, оставив на титульном листе моей книги такие душевные слова: «Николаю Ивановичу Шестёркину, замечательному человеку, мастеру с золотыми руками». Печник прослезился, обнял меня и трижды поцеловал. Насвистывая, он пошёл

вдаль, а я к новой печке – оглядеть её при свете утра. Да и прибраться следовало, унести от печки всё лишнее, вымести мусор.

Она ещё не просохла, наша мечта, всюду на кирпичках видны были влажные глинистые разводы, вихреобразные, как гроззовые облака. Но сегодня изделие Шестёркина выглядело каким-то не очень lepым, даже, пожалуй, нелепым вовсе: плита просторная и приземистая, словно старинный сундук, а труба несоразмерно узкая и длинная – всё вместе это напоминало гуся, вытянувшего шею, задравшего голову, разглядывающего небо. «Такой подарок жене может не понравиться, – подумал я. – К тому же переплачено за него вдвое, а до пенсии ещё долго, денег кот наплакал. Но главное, я сам виноват: оказался не к месту покладист. Хоть бы не узнала хозяйка моя, что клали мы печку выпивши».

Ещё через день Вера Владимировна вернулась. Увидев печку, она восхищённо ойкнула и всплеснула руками, горячо меня поблагодарила и похвалила. Ничего, кроме выражения удовольствия, я в её поведении не заметил; но позже выяснилось, что печка хозяйке сразу не пришлась по душе, просто деликатная женщина скрыла разочарование. Когда же я впервые затопил печь, то языки пламени направились не под конфорки, а в трубу, навывлет. Исходя дымом, труба по ветру сыпала искрами, а значит, с одной стороны, к. п. д. печки равнялся нулю, с другой же стороны, печка была пожароопасна. Чтобы скрыть от жены полную несостоятельность уличного очага (потом-то, и довольно скоро, Вера Владимировна сама всё поняла), я стал топить печку фигурным способом. В конце топки, ближе к дымоходу я укладывал сырые дровишки, и лишь только они кое-как принимались чадить и дым от них улетал в трубу, я топил переднюю часть печки сухими поленьями. Огню тут ничего не оставалось, как только греть днища кастрюль, поставленных на конфорки. Дров требовалось вдвое больше, зато выход был найден. Из мелких изъянов печки упомяну дефект запорного устройства дверцы. Его железная накидная полоса не дотягивалась до гнезда. А вчера, казалось, дотягивалась. Делать нечего, стали закрытую дверцу подпирать палкой.

Первый же обильный дождь облагородил нашу печку, смахнул с кирпичей глинистые разводы. А заодно напористый дождик проник в щели между кирпичами и на глубину проникновения вымыл соединительный раствор. Тут, конечно, вины Шестёркина не было – какой дали ему материал, таким и пользовался. Чтобы печка не разрушилась, пришлось нам с Верой Владимировной срочно замешивать новый раствор, более вязкий, с соломой, и вмазывать его в щели. Потом я взял в своём хозяйстве четыре высоких столбика, врыл их в землю около печки и построил над очагом покаты́й навес, пропустив сквозь крышу дымовую трубу. Вид у печки стал совсем пристойный.

Постепенно мы привыкли к её капризам, научились на ней варить.

Но вот в гости к нам приехала сестра моей жены Нина. Она родилась на Полтавщине и долгие годы прожила в большом украинском селе, где в каждом дворе стояла выбеленная известью печка. Нина знала в печках толк и сама умела их класть. Она решила побаловать нас украинским борщом, кинулась к уличной печке и встала перед ней, разинув рот.

– Який дурень зробив её? – воскликнула темноокая красавица запенсионного возраста. – З роду не бачила таку уродину!

И закатилась смехом, хватаясь за живот.

Пока Нина смеялась, мне почему-то пришла на ум моя надпись на собственной книге, которую я вручил Шестеркину.

Всё-таки гостя взялась топить печку, но вскоре на неё разозлилась и выгребла жар на землю. Подобрав несколько кирпичей, Нина уложила их на дно топки каким-то особым образом. Печка заработала лучше и сносно варит до сих пор.

Спираль для электроплитки, проданная мне Шестёркиным, была, конечно, не из вольфрама. Вольфрам стоит дорого, из него делают волоски для ламп накаливания, и я сразу смекнул, что спираль – обыкновенная, стальная, однако вот купил. Её сплав вообще оказался

невысокой марки, и спираль быстро перегорела. Хотел я при случае заговорить с Николаем Ивановичем про спираль и печку – выразить протест, – но передумал. Да и видел я его потом всего лишь раз, мельком. Я выходил из магазина, а печник заходил в магазин, и я было устремился к старому знакомому, но он глянул на меня отчуждённо, холодно и произнёс:

– Уважаемый, не подскажете, сколько времени?

Тогда я ответил ему тоже как чужому и расстался с Шестёркиным навсегда.

\* \* \*

Дошла очередь и до починки крыши. Всё у нас, значит, было наготове: рубероид, стальная лента, гвозди и две самодельные лестницы: обыкновенная – чтобы подниматься с земли, – и с загибом, при помощи которого кровельная лесенка цепляется за конёк, и удерживает работника на скате. Снова безуспешно искали мастеров, а потом к нам самолично явились двое, не те, прежние, умкнувшие у нас полсотни, а другие: один рыжеватый, долговязый, жилистый, второй тоже жилистый, но худее и ростом меньше. У того, что ростом меньше, была продолговатая голова, а уши стояли торчком. Первого звали Павлом, второго Анатолием, но Павел, старшой, часто именовал Анатолия Чебурашкой – из-за торчащих ушей, надо полагать. Представились они так, эти молодые бойкие мужчины: Пашка и Чебурашка. Узнали, что нам надо перекрыть крышу и, не спрашивая авансов, соглашаясь на все наши условия, стали готовиться к работе.

Я вынес из сарая рулон кровельного материала, коробку с гвоздями и стальную ленту, свёрнутую спиралью, а Павел с Чебурашкой достали из своей походной сумки острый нож, молотки и большие ножницы. Старшой с земли посмотрел на крышу и, посчитав на ней полосы рубероида, прикинул, сколько штук его понадобится. Я сказал, что всякого материала для починки кровли у нас куплено достаточно, пусть работники не беспокоятся. Павел взобрался на верхнюю лестницу и сел у конька крыши, Анатолий же встал на нижнюю, возвысившись над стрехой. Один подал рулон наверх, другой распустил его, подтянул и выровнял концы по обоим скатам. И пошла работа: где требовалось, подрезали рубероид ножом или ножницами, перекрывали швы стальной лентой и стучали молотками, вколачивая гвозди. Радостно было на душе от этого деловитого перестука, разносившегося окрест. Стлали новый рубероид поверх старого – так лучше закроются щели и крыша не будет протекать. Я тоже с большой охотой что-то делал: подносил рулоны, придерживал наземную лестницу и по краям стальной ленты заранее пробивал дырки под гвозди, укладывая ленту на деревянную плашку – Павел мне объяснил, на каком расстоянии друг от друга нужно пробивать.

Погода опять стояла солнечная. Птички, полетав над нашим двором, прятались от зноя и яркого света в кустах, окружающих усадьбу, покачивали ветки, чирикали. Дело спорилось. Полуголые загорелые кровельщики весело глядели из-под козырьков кепок, пошучивали меж собой на крыше. Мы с женой были довольны ими; но хозяйка иногда строго отчитывала Павла и Анатолия за крепкий мат. Особенно громко и образно выражался старшой, который, разойдясь, стал гонять помощника, как раба: «Чебурашка, подай! Чебурашка, принеси! Чебурашка, что ты там копаешься?» Чебурашка-Анатолий оказался человеком покорным. Суетливо выполняя команды старшого, он, правда, обижался в ответ, но из уст его ясно слышалась одна ненормированная лексика. Вера Владимировна обоим грозила пальчиком, но вот за полдень она всех позвала обедать.

Сели за стол в избе. Обнажённые плечи кровельщики прикрыли рубахами. Обед состоял из трёх блюд: помидорно-огуречного салата, украинского борща и картошки, поджаренной на свином сале (уличная печка обед готовила, хозяйка старалась хорошенько накормить работников). Предполагался ещё чай с вареньем и сухками. Павел и Анатолий втянули носом съестные

запахи, отбили пальцами на груди какие-то ритмы, облизнулись на салат, сдобренный луком, чесноком, сметаной, и старшой заговорил с просительной улыбкой:

– Налила бы, хозяйюшка, по стопке, а? Больно закуска хороша. Под такую грех не выпить. Зря пропадёт, когда просто так съедим. А если нет у тебя, давай мы в магазин сбегает.

– Ага, налей, – поддакнул Анатолий, заглядывая моей жене в глаза и осклабясь угодливо. – Сухая-то ложка, сама знаешь, рот дерёт. Мы только по одной и – шабаш.

– Нет, ешьте без выпивки, – сказала Вера Владимировна. – Вы на работе, а не на отдыхе.

– Без выпивки у нас не пойдет. Лучше мы совсем есть не будем.

– Хорошо, давайте налью компота из сухофруктов.

– Компот – не то. Это для детей и женщин.

– Ну что за чепуха?.. Очень уж вы, мужчины, набаловались. Кое-что у меня, конечно, имеется, – честно призналась Вера. – Запаслась на случай, если будете хорошо себя вести и достойно окончите работу. Сейчас мне не хотелось бы угощать вас спиртным. Неизвестно, что из этого выйдет. А нам надо, чтобы сегодня же крыша была перекрыта. Без неё дел полно. Вот закончите – тогда...

– Сегодня же и перекроем! Всё выйдет, как надо! – живее заговорил Павел, торопясь поймать жар-птицу за крыло, склонить хозяйку к согласию. – Не сомневайся! Считаю, половину сделали. Хорошо мы себя, скажи, ведём?

– Пока хорошо. – Жена старалась подпустить строгости в голос и выражение лица.

– Вот! Так и дальше будем! Ничего от стопки с нами не произойдёт! У нас иммунитет! Наливай, не бойся!

– Нам ведро надо выпить, чтобы офонареть, – сказал Чебурашка. – После одной-то стопки поедем как следует да лучше заработаем – и всё. Проверено.

– Напрасно, мальчики, хвастаете, что способны много выпить. Ничего хорошего в этом нет. Нашли чем хвастать!

– Это к слову так говорится, – опять сказал Чебурашка и тревожно хихикнул, поймав свирепый взгляд старшого. Во взгляде Павла, направленном на Анатолия, я прочёл: «Что же ты, гад, коммерцию мне портишь? Я тут из кожи лезу, выпивку тебе и себе пробиваю, а ты хозяйку злишь!»

– Не знаю, право... Вы оба такие славные. Я вам поверила...

– И ты нам очень нравишься, – сказал Чебурашка и тем оправдался перед своим командиром.

– Но всё же я боюсь, ребята. Ведь на крыше работаете. А если свалитесь?..

Я видел, что Вера Владимировна колеблется, смягчается по доброте душевной. Жена молча посоветовалась со мной, и я кивнул.

– Налей, – говорю. – Что уж там. Но не больше чем по стопке. Я тоже выпью с ребятами за компанию. В самом деле, стопка водки здоровому мужчине не повредит. Это и врачи утверждают.

Весёлый у нас получился обед, оживлённый. После выпивки говорливости у всех прибавилось. Шутили, рассказывали анекдоты, смеялись. Кровельщики с юмором вспоминали, как некогда служили в армии: Анатолий на Чукотке в погранвойсках, а Павел на ракетном полигоне под Архангельском. Тот и другой были сержантами, отличниками боевой и политической подготовки. Я очень заужавал их за послушной список.

Из-за стола все вышли друзьями, поговорили даже о том, чтобы дальше встречаться. Покурив, кровельщики снова забрались на крышу. Они трудились усерднее прежнего, только чаще отдыхали – с утра, конечно, поднакопили усталости. Перешли на противоположный скат, не видимый со двора. С этой стороны избы, в полдень затенённой, густо разрослась крапива, к стене вплотную подступили кусты терновника, и я думал, что колючие упругие ветки и крапива помешают работникам переносить с места на место наземную лестницу, надёжно устанавли-

вать её и согласовывать действия. Но Чебурашка – в рубашке теперь, чтобы не обжечься и не поцарапаться, – расчищал место, придавливал крапиву сапогами, отводил ветки за лестницу, цеплял одну за другую, и я убеждался, что всё у кровельщиков хорошо ладилось. Делать мне возле них стало нечего, и я ушёл во двор окучивать картошку, а когда спустя час вернулся посмотреть, то увидел, что Павел с Анатолием стоят возле лестницы, курят.

– Покури, хозяин, с нами, – позвал старшой.

– Да ведь я не курю. Долго курил, лет двадцать пять, но однажды набрался смелости и бросил.

– Молоток, – похвалил меня Чебурашка, и мне показалось, что он держится развязно, и голос его, взгляд, улыбка «плавают».

Старшой тоже показался преобразённым: лицо красное, глаза вытарашенные, беспокойная стойка, неестественные движения руки, подносящей сигарету ко рту. Я хотел подойти к работникам и убедиться в том, что они перегрелись на солнце – об этой беде мне сразу подумалось, – но тут Павел бросил окурок на землю, подмигнул, заржал и полез на крышу избы, как на стену неприятельской крепости, быстро, отважно, с воинственным кличем:

– Не бойсь! Прорвёмся!

Я сообщил Вере, что работники выглядят какими-то чудноватыми, иными, чем прежде.

– Наверно, перегрелись, – говорю. – Со стопки, что ли, их так на солнце развезло?

– Бедные, – сказала Вера. – Говорила, не надо выпивать... А может, ещё добавили?

– Где же они могли добавить в густом кустарнике? И не отходили далеко, и с собой у них вроде ничего нет.

– Ну! – ответила жена насмешливо. – Это чтобы любители захотели выпить, да не нашли? Давай-ка, понаблюдаем. Неловко, но что делать?

Когда в очередной раз смолк перестук молотков, мы пошли и осторожно выглянули из-за угла. Работники снова курили, но озирались по сторонам и о чём-то тихо разговаривали. Потом они радостно глянули в заросли терновника, рванулись с места и, пригнувшись, шмыгнули в кусты. А с противоположного края терновника, со стороны магазина, скрытого под горой, навстречу Павлу и Анатолию по-пластунски выполз лохматый мужик с бутылкой в руке. Он присел на земле, зубами сорвал с горлышка цинковую крышку, и вся тройка, сплочённая питейным вожделием, стала дуть водку из «горла», передавая бутылку друг другу, спеша, проливая себе на подбородки. Вера Владимировна не удержалась и вышла из-за дома. Я за ней.

– И не стыдно? – звонко крикнула хозяйка.

Мужики, словно воры от милицейского свистка или рыбки, напуганные тенью рыболова, кинулись врассыпную. Лохматый снова упал на землю и пополз задним ходом.

– Ну-ка, братцы, идите сюда! – позвал я работников.

Павел с Анатолием медленно приблизились и встали перед нами с малиновыми лицами, покачиваясь и конфузливо улыбаясь.

– Какую уже по счёту бутылку распиваете? – спросил я.

– Чай, вторую, – ответил Чебурашка.

– Не стыдно? – повторила моя жена. – Я-то думала, вы порядочные люди! Отнеслась к вам с уважением, постаралась и обед для вас приготовить, и хмельного к окончанию работы припасти. А вы мало того, что до времени вытянули из меня по стопке водки, так ещё пошли втихомолку пьянствовать! Фу, смотреть на вас противно! Бессовестные! Убирайтесь!

– Извини, хозяйка, – сказал Павел, наклоня голову, пряча глаза. – Как говорится, бес попутал. Вообще-то мы – в порядке. Сейчас доделаем и уйдём.

– Да ты на ногах едва стоишь! Язык заплетается! А собираешься лезть на крышу! Я, конечно, во многом виновата! Поддалась на ваши уговоры! Не знала, что вы горькие пьяницы и не можете удержаться, когда чуть за воротник попадёт!

– В порядке мы! – упрямо и враждебно повторил за товарищем Анатолий, во хмелю ставший вдруг неменяемый. – Доделаем, гад буду! Ты, Пашка, теперь внизу работай, а я полезу наверх, как монтажник-высотник!

С сигаретой в зубах он поспешил к лестнице, но с разгона запутался ногой в траве, подвернул ступню и взвыл от боли.

Я кинулся к Чебурашке и поддержал его со словами:

– Ну вот! Достукался! Очень больно, да? Только членовредительства нам не хватало! Пошли в избу, перетянем ногу бинтом. Помогает при ушибах.

– Хрен с ней, с ногой, – сказал он, отталкивая меня. – Не в ноге счастье. Хочу работать на высоте.

И опять, сильно хромая, охая, нацелился к лестнице. Чебурашка полез по ступенькам, так сильно раскачивая лестницу, что она далеко отходила от края крыши, с размаху шлёпала по нему и едва не опрокидывалась на кусты вместе с работником. Я за штаны стащил его на землю и прогнал, а следом выпроводил Павла. Наутро они вернулись, опухшие, хмурые и молчаливые, быстро приколотили весь рубероид и, получив расчёт, ушли.

\* \* \*

Тут, кажется, можно было бы и посмеяться, и есть над чем: в каждой из трёх частей моего очерка встречаются забавные положения. Но – не смешно мне, не весело. Конечно, я невольно улыбаюсь, вспоминая этих интересных людей, но скоро печаль и тревога ложатся мне на сердце. Чебурашка-то зимой замёрз. К ночи много выпил, побрёл куда-то в потёмках задворками и увяз в сугробе. А другой местный, тут не названный, во хмелю насмерть подавился закуской. Третий, мне рассказывали, умер от остановки сердца, сидя возле дома на лавке и потягивая из бутылки какой-то вредный напиток. Четвёртый утонул. Пятого убили в драке... Гибнут не от старости, а от пьяного самоуничтожения. Ни себя, ни других не жалеют. А ведь какие удивительные характеры! Какие своеобразные личности! И умные все, и способные, хитрые, лукавые, смелые, весёлые и забавные. Мастера на все руки, только руки сильнее трясутся, иссыкают в печниках и кровельщиках, встретившихся мне на пути, запас умения и самолюбия, копят навыки халтуры, жульничества и нахальства... А поля вокруг заросли чертополохом и кустарниками, берёзками, ёлочками, сосенками. Уже больше десятка лет не вижу я ни одной пашни в окрестностях деревни, где давно обитаю весной, летом и осенью. Местное камнедробильное производство зачахло, скот вырезан. Умирают старики, гниют избы, деревня пустеет и немного оживляется к лету за счет дачников. По мертвеющей веси, по пепелищам бродят малочисленные сельские мужчины, из тех, что не смогли или не захотели сбежать в город. Не знают они, к чему приложить силы, облениваются, дичают. И кажется, что с утра до вечера думают лишь о том, где достать денег на бутылку...

«Постой-ка, – скажет кто-нибудь из вьедливых читателей, – а про себя-то что не говоришь? Судишь людей, но, как сам тут написал, водку им покупаешь и пьёшь вместе с ними». Правильно, я чем лучше? Я тоже подавленный русский человек, и мне не всегда хватает сил сопротивляться уродствам существования и иногда хочется, махнув на всё рукой, не просто выпить рюмку с приятелем, а пуститься во все тяжкие. И не сужу я никого, а люблю и жалею, себя же ругаю за слабость духа.

## Радость пиления дров

Ну разве могло прийти мне в голову, что жена моя Вера Владимировна больше всего на свете любит пилить дрова? И в этом она призналась мужу, разменяв восьмой десяток лет (что уж теперь скрывать прекрасной даме свой почтенный возраст?!). Зимой в крещенские морозы мы с ней отметили золотую свадьбу, а летом у себя на даче в деревне Селивановского района она мне и поведала о своём необыкновенном пристрастии.

– Вот сразила, так сразила! – сказал я, полагая, конечно, что женщина шутит, и подыгрывая шутке. – Пятьдесят лет с тобой бок о бок прожил, и не догадывался, что у тебя может быть такая блажь. Ты хоть раз водила пилой по лесине?

– Я никогда в жизни не пилила, – ответила она с детской улыбкой.

– Откуда же взяла, что тебе нравится пилить?

– Чувствую. Поехали в лес! Не смейся! Я – серьёзно! Мне хочется пилить дрова! И потом: не ввязься ли самим заготавливать их для себя? Зачем платить большие деньги за машину дров и отдельно за то, чтобы нам их раскололи? Сами напишем и из леса привезём, сами и наколем! Верно?

Про то, что можно не покупать дровишки, а самолично их заготавливать, мне её слова понравились. На всё про всё пенсий не напасёшься.

– Это ведь тяжёлая работа, – говорю, присматриваясь к жене. – Со стороны наблюдать – вроде очень просто: вжик-вжик. А самому пилить вручную – каторжный труд. И не женское это занятие. В войну, знаю, бабы валили лес и ещё много исполняли такого, что в мирное время под силу только мужикам. Но то – война: всё для защиты Родины, всё для победы. Хорошо, поехали.

От прежнего хозяина избы нам досталась большая двухосная тележка с алюминиевым кузовом и резиновыми шинами, очень лёгкая на ходу. Рано утром мы вывели её из сарая. Мы надели походные куртки, резиновые сапоги (было сухо, но обувь высокая – против змей) и положили в кузов двуручную пилу, топор, верёвку и рабочие рукавицы. Я взялся за тягловый ремень и повёз, а жена пошла следом, грызя хорошими зубами тепличный огурец. Телега затряслась на неровностях травянистой дорожки, прокошенной и протоптанной нами от избы, и инструменты стали гроыхать на дне кузова. Некоторое время мы терпели их гроыхание, но, когда пересекли шоссе и выехали на грунтовую дорогу, куда-то ведущую через поле и мимо ближайшего к деревне леса, гроыхание нам осточертело. Я взял пилу за рукоять на плечо, а жене посоветовал сесть в кузов рядом с топором, подложив верёвку и рукавицы. Она села, и я повёз, сперва шагом, потом рысью, как давным-давно катал её зимой на саночках. Мне тогда было лет семь, а ей четыре года. Наши матери – медсёстры – обихаживали солдат, раненных на Великой Отечественной; там в одном из владимирских госпиталей мы с будущей моей любовью и познакомились.

Я вёз, а жена, придерживая топор, подсказывала на трясущейся тележке и смеялась. Хотелось мне спросить, чему она так весело смеётся, прямо заливается; но всё было ясно. Её забавляло то, как мы ребячимся на старости лет, и то, как я пыхчу от усердия и криво ставлю косолапые ноги, и просто ей было радостно и хотелось смеяться.

Днём в середине лета становилось жарко, томно и скучно, зато раннее утро было настоящим чудом природы. Такое утро сразу настраивало на добрый и возвышенный лад, особенно, когда мы шли в лес и наслаждались вольной волей, свежим воздухом и сельскими видами. Лес быстро к нам приближался. Он рос в полукилометре от деревни. В нём острыми верхушками и тёмной окраской выделялись ели, светлее выглядели сосны, а меж елями и соснами белели стволы берёз. Поля по сторонам дороги, на которых двадцать с небольшим лет назад золотилась пшеница и розовела гречиха, уже были не поля. Лес спешил разрастись во все стороны, и

смешанный подросток подбирался к шоссе, к грунтовой дороге и уже в любом месте мог скрыть самого рослого человека, даже если бы рослый встал на ходули.

Солнце всплывало над горизонтом слева от нас, роса всюду поблескивала на траве, раскрашенной полевыми цветочками; покусывали комары, чем ближе к лесу, тем настырнее. Мы ступили на тенистую прохладную опушку леса, посыпанную старой рыжей хвоей и тлеющими бурыми листьями. Жена, забрав топор и всё остальное, вылезла из кузова. В лесу мы огляделись и тут же облюбовали палую берёзу средней толщины, сломанную какой-то силой; к ней и подвели тележку. Надев рукавицы, я прежде всего пошёл обрубать топором сучья на берёзе. Они давно высохли и обрубались легко. Дерево обломанным комлем свисало с пня, а вершиной приподнялось над землёй за счёт упёртых в неё толстых нижних сучьев, их я пока не тронул. Мы подступили к верхушке берёзы и, наклонившись, взяли за пилу. С первого надпила кто-то в стволе взвизгнул, как резаный, и, переметнувшись на другое место, стал грозно роптать: «Вжик-вжик...»

– Ну что? – спросил я жену, когда отвалился и упал на землю первый, тонкий чурбак и мы отмерили второй, – чувствуешь радость свободного труда, счастье пиления дров?

– Ага, – ответила моя Вера, отдуваясь, улыбаясь молодыми глазами, серыми с бирюзовым отливом. – Только ты помогай мне тянуть в мою сторону, а то у меня рука очень устаёт.

– Нельзя помогать, – говорю. – Тогда будет ещё тяжелее. А рука слишком напрягается оттого, что нажимаешь на инструмент. Надо тянуть за ручку без нажима. Хорошо разведённая и наточенная пила сама вгрызается в древесину. У нас пила в порядке.

– Что, совсем нельзя на неё нажимать?

– Да, нежелательно. Она сама себя нажимает.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю. Приходилось пилить. В возрасте пятнадцати лет поработал на лесоповале близ деревни Неклюдово Гусь-Хрустального, по-моему, района. Там меня специалисты учили не нажимать на пилу, и ещё кое-чему обучали.

– Да? А я вот и не знала! Наоборот, думала, надо нажимать сильнее! Как интересно!..

Пила заняла на берёзе рабочее положение и двинулась ровно, ритмично под свою первобытную мелодию: «вжик-вжик...» Она не застревала в сухом дереве, конец которого удобно для пиления держался на весу. Из-под зубьев её, как искры, летели опилки. Отрывая взгляд от лесины и пилы, я видел впереди мачтовую сосну, а под ней подушку пепельного мха и рядом в мелкой редкой траве кустики спелой земляники и переросшую сыроежку. Птицы чиликали в листве тонкой берёзы и перелетали там с места на место, качая ветки, где-то в вышине, как в пустую колоду, постукивал в дерево дятел, готовил себе завтрак. Концентрические многоугольники паутины, устроенной хозяином меж мягких гибких веток можжевельника, ярко серебрились в луче проникшего к нам ещё низкого солнца. Чурбаки падали один за другим, их с нетерпением дожидалась тележка. И так становилось хорошо на душе от этой неспешной физической работы и от всего вокруг, что я начинал верить: заготовку дров можно сделать любимым занятием в свободное от работы время.

Но, глянув на пыльщцу, я устыдился своих иронических размышлений. Она, бедная, очень старалась и побледнела, запарилась, прикусила губу, но ни разу не пожаловалась, как ей нелегко без перерыва водить пилой.

– Всё! – крикнул я, и в глубине зелёного колонного зала меня одним гласным звуком передразнило эхо, и птахи, встревоженные моим криком, слетели с берёзы.

Я схватил пилу и приставил к сосне. Пыльщца, переводя дух, поправила на голове красную вязаную шапку, набрала в ладонь земляники и кинула в рот.

– А теперь как? – спрашиваю. – Небось, с ног валишься.

Сразу ответить словами у неё не хватило дыхания, и она подняла большой палец.

Мы стали грузить чурбаки на тележку. Они все уместились на дне кузова вплотную один к другому, и верёвка не понадобилась. Я опять взялся за тяговый ремень. Жена подобрала крепкую палку и упёрлась ею сзади в телегу, помогая мне везти. Топор и пила, покоясь на дровах, больше не громыхали. Солнце разгоралось, искрилось, протягивало по небу золотые нити. В куртках делалось жарко. Посреди дороги мы остановились, сняли куртки и, постелив их в траве недалеко от дороги, растянулись под сенью отбившихся от основного подлеска берёзовых кустов. Милая подвинулась и положила мне голову на плечо. Я прикусил травинку. Мы ни о чём не говорили, просто отдыхали и думали, может быть, об одном и том же: что жизнь нами в общем прожита и что при всех её трудностях и сложностях, горестях и печалях, солнечных днях, туманах и метелях это была хорошая честная жизнь; дай Бог, чтобы она еще продлилась. Мы глядели в небо и уже старались проникнуть умом сквозь небесный свод в Горние Выси, чего в молодости быть не могло.

Стоит ли подчёркивать, что, сходяв поутру в лес за дровами и в течение дня переделав неизбежные хозяйственные дела, ночью мы спали, как убитые. Я думал, у жены всё-таки пропала охота пилить дрова, но не тут-то было. Скоро Вера Владимировна опять взялась меня тормозить: поехали в лес да поехали.

– Ладно, – говорю.

Кроме инструментов пильщика и рукавиц мы взяли на сей раз литровую банку под ягоды, корзину под грибы и два ножичка. Опять я её вёз, где шагом, где рысью, вяло стуча копытами – на галоп сил не хватало. Опять мы с восторгом встречали солнечную зарю и радовались погожему утру.

Допиливая с напарницей ту же берёзу, я чувствовал необыкновенное умиротворение, точно сама благодать Господняя сошла на меня. Заготавливать в лесу дрова, скажу вам, это не грибы и ягоды собирать. То и другое замечательно, но первое – выше. Когда пилишь, больше чувствуешь свою человеческую значимость и сознаёшь весомость работы, а знакомый участок леса воспринимаешь не как место привычного отдыха, а как делянку, отведённую тебе под заготовку дров. Но, поглядывая на жену, я старался работать не спеша. Сегодня она меньше тратила сил, но чурбаков мы напилили не больше, чем в прошлый раз. Полный воз тяжело везти, и много дров нам не требовалось. Летом печь в избе мы топили от случая к случаю – лишь когда сушили в ней грибы.

– Вот теперь ты, по-моему, отвела душу, – сказал я. – Напилилась досыта.

– Ничуть не напилилась, – ответила жена. – И в голову не бери, что я напилилась.

– Неужели не надоело? Или просто не хочешь сознаться?

– Нисколько не надоело. Наоборот, всё больше нравится.

– Мне тоже, – сказал я.

Нагрузив тележку, мы пошли искать ягоды и грибы. Всё, что составляло лес, выглядело бесподобно, завораживало и разыгрывало воображение, и я сказал жене, а она со мной согласилась, охая и ахая от детского изумления, что этот берёзовый пенёк смахивает на забинтованную голову, у которой из-под повязки видны нос, глаза и темя, а большая стройная ель похожа на шатровую церковь с коротким крестом. Потом мы молча кружили вокруг пней, деревьев, кочек; и мне приходило на ум, что, если о чём-то стоит жалеть к концу жизни, то, конечно, не о том, что не скопил богатства. Жалеть можно о том, думал я, что за делами и ленью не нашёл времени слиться с природой и быть истинно счастливым. А богатство, говорила моя тёща, поверх гроба не положишь.

Ягод росло немало: липкой переспеваящей земляники и мелкой, суховатой от жары черники, рассыпанной по ветвистым кустикам. Но из грибов попадались только сыроежки, и те в большинстве ветхие. Нам встретился одинокий грибник, в кепке, сапогах и очках, и, показав нутро своей почти пустой корзины, категорически заявил:

– Нужны дожди, дожди и дожди! Надо, чтобы хорошенько промочило здешнюю песчаную почву, тогда и гриб, как бешеный, пойдёт расти!

– Да, необходимы дожди, – поддакнул я и поздоровался с ним рукопожатием. Этого муромского пенсионера, жившего летом в нашей деревне, мы знали в лицо.

– А что вы с одной корзиной и одной банкой по лесу ходите? – спросил он, кивнув на наши занятые руки: жена держала банку, а я корзину.

– Да не хватило каждому по банке и корзине, – пошутил я. – Но если серьёзно, то мы отправились в лес по дрова.

– Где же они у вас? И на чём вы их возите?

– Там они, недалеко от опушки. Телега, гружённая берёзовыми кряжами, стоит под парами, хозяев дожидается.

– Вы, что же, сами пилите?

– Ну да. Пилим бурелом двуручной пилой и отвозим на несамоходном транспорте. Нам нравится пилить и отвозить. Развлекаемся таким образом.

– Стало быть, это у вас вроде хобби?

– Ага.

– Чудное какое-то хобби. В первый раз про такое слышу. Да вы оба, по-моему, и не слишком молоды для него. А жена ваша на вид такая худенькая, простите, и слабенькая.

– Я не худенькая и не слабенькая, – сказала Вера Владимировна. – Я спортивная и изящная.

Он хмыкнул, посерьёзnel и подпортил нам удовлетворение от пилки дров:

– Поосторожнее пилите. Этот лес, говорят, собирается купить какой-то богачей, или уже купил. Можете нарваться на неприятность.

– Да? Об этом мы не подумали. – Я встретился взглядом с женой: она ждала от меня достойного рассуждения. – Но мы и дальше собираемся пилить только палые деревья, – объяснил я грибнику. – Кому они нужны? Сгниют – и всё. Помню, знакомый лесник говаривал: если бы кто взялся распилить и вывезти с моих участков весь бурелом, я бы ему спасибо сказал.

– Лесник государственный – одно, а владелец леса – другое, – возразил мой собеседник. – Всё, что находится в частном лесу, только владельцу принадлежит.

– Что же, – спрашиваю, – и ни грибы, ни ягоды нельзя будет здесь собирать?

– Вполне возможно. Всё зависит от того, какой придёт хозяин, жмот или добрый. Скорее всего, явится жмот. Желаю здравствовать.

В последний раз мы собрались по дрова осенью, в конце сентября, незадолго до отъезда во Владимир. В течение лета набрали в дровяник берёзовых, еловых, сосновых чурбаков, но ещё хотелось попилить. Некоторые чурбаки я успел расколоть. С наступлением холодов сухие смолистые поленья, заготовленные своими руками, трудовые, бесплатные, весело запылали у нас в русской печи. И на лежанке нам было тепло от их горения, и в избе с одинарными оконными рамами нехолодно.

За время пилки бурелома мы окрепли телом и духом, огрубели лицами и стали ходить, мне казалось, вразвалку, как моряки, а топор я носил теперь за поясом, перетягиваясь поверх куртки солдатским ремнём. И всё было бы хорошо, если бы грибник, встретившийся в лесу, не омрачил нам удовольствие от заготовки дров. Мы стали опасаться владельца леса, возможно, готового напустить собак на кого угодно, пилящего в его владениях, а главное, лишить двух старичков любимого занятия, может быть, последней радости в жизни. Масла в огонь нашего волнения подливали ходившие по деревне слухи, как всегда преувеличенные, что скоро все леса вокруг будут скуплены, огорожены колючей проволокой, обставлены вышками с охранниками, вооружёнными автоматами, и что свободно в лес уже нигде не проникнешь. «Мы ходим

по здешним лесам тридцать лет. Они стали нам родными. Почему кто-то может взять и отнять их у нас? – злился я. – По какому праву?»

Впрочем, добирались мы ныне до места как прежде весело. Ближе к октябрю заря нелегко вырывалась из мрака; но погожее лето завершилось прекрасной осенью, и запоздалое утро празднично посверкивало восходящим солнцем, изморозью на траве и паутиной на всяком кустике и каждой былинке; мы никогда не видели сразу так много паутинок, казавшихся антеннами, направленными в космос. Воздух был ядрёный, с запахом арбуза, тот самый, что по поэту Некрасову «усталые силы бодрит». Сегодня мы надели телогрейки. Тележка катилась живее, чем летом. Копыта мои на рысях цокали по подмёрзшей земле. Жена в тележке грызла яблоко.

Но в лесу мы сразу насторожились и, воровато озираясь по сторонам, выбрали дерево поплоче, старую еловую колоду, какую, по нашим представлениям, владельцу леса не было бы слишком жалко потерять. И пилить мы попробовали тише, но тот, что сидел в колоде, с присвистом захрипел на весь лес: «Вжик – вжик...» Отпилив чурбак, мы сквозь чащу поприглядывались к опушке, поприслушивались к внелесным звукам. Грузовая машина прогрохотала по дороге; потом мягко прокатилась легковушка, встала неподалёку, зачем-то бибикнула и опять поехала. Но собственник леса, слава Богу, пока не объявился. Ещё поработали и осмотрелись: кроме нас – никого вокруг. Отпилили третий чурбак – и снова безнаказанно. Может, подумали, не успел богачей купить лес, а то и вовсе отказался от покупки. Стали действовать смелее, нагрузили тележку и увезли домой.

...Сейчас настраиваемся на новый сезон. Если всё же встретим в ближнем лесу охрану, пойдём пилить в другой, пусть отдалённый, но общественный. А когда все леса сделаются частными, будем не воровать, но потихоньку брать своё, от века принадлежащее народу. Не пилить мы уже не можем.

## Драма в курятнике

В одном из своих «деревенских» рассказов я, помнится, жаловался на гусака, который, когда я шёл к водяной колонке, бегал за мной, вытянув шею, раскинув крылья и шипя:

– Ух, ущипну!

Пробовал я говорить с ним по душам: как, мол, не стыдно? Что ты себе позволяешь? Зачем пристаёшь к человеку, ни в чём перед тобой не повинному? Но распоясавшегося хулигана увещевать бесполезно, он понимает только кулак; и, не стерпев, я однажды пригрозил гаду:

– Если не отстанешь, шею сверну!

Мне кажется, он испугался, понял, что не шучу; пока больше не нападает, только косо глядит круглым глазом, делает вид, что ничего не боится и готов опять ринуться в атаку.

С гусынями же из его компании я в мирных отношениях. Они бродят по улице, переваливаясь с боку на бок и вихляя задом, этакие важные барыни, мирно щиплют траву, лежат, как насытятся, у забора своего подворья и не обращают на меня внимания. Правда, когда их ухажёр измывался над человеком, гусыни вскидывали головы и галдели в мою сторону: «Га-га-га...», – а мне в их гортанных криках слышалось:

– Вот он какой, наш гусак! Он нас оберегает, никому в обиду не даёт! А ваши гусаки так же заботятся о своих гусынях?

Однажды в середине лета, наливая в ведро воду из колонки, я увидел, как одна из гусынь свернула с травы на песчаную дорогу, накатанную меж двух рядов домов личными автомобилями некоторых селян и дачников. Жирная птица полежала брюшком на песке и снесла яйцо. Оставив ведро с водой, я подобрал ценный продукт, тёплый после утробы, и пошёл с ним к тётке Полине; изба её стояла рядом с колонкой.

– Пожалуйста, – говорю, взойдя на пристрой крыльца и подавая загорелой моложавой хозяйке лежащее на ладони яйцо, раза в два больше куриного, сильно вытянутое и с серым оттенком. – Ваша птичка снесла. Какое крупное! Никогда не ел гусиных яиц. Какие они на вкус?

– Куриные лучше, мягче. А вы оставьте его себе и попробуйте. Потом скажете, понравилось или не понравилось, – ответила женщина, которую деревенские почему-то за глаза называли тёткой Полиной, хотя многие из называвших были старше её. Вероятно, кто-то однажды случайно именовал её так, а другие подхватили, и возраст никакого значения тут не имел. Мне Полина вообще годилась в дочери, но никто не кликал меня дядькой Альбертом.

Я поблагодарил её, но дар не принял, объяснив, что несущее ведро с водой и по дороге могу нечаянно разбить замечательное яйцо, тем более, что буду подниматься домой по каменистой тропинке в крутую гору. Очень станет жалко, если разобью. В следующий раз, сказал, возьму, и мы с женой попробуем.

– По-моему, в нашей деревне только у вас есть гуси, – заметил я. – Ни у кого больше я их не видел.

– Почему? – Она пожала обнажённым смуглым плечом. (Одета Полина была в светлое платье без рукавов.) – Имеются ещё любители. Пройдите по-над речкой в другую часть деревни и увидите. Там гуси в речке плавают.

– Хорошо, пройду, поинтересуюсь, – сказал я и кивнул через плечо на разноцветных хохлаток с петухом, гулявших по двору и за подворьем, рядом с гусьями. – А у вас, смотрю, и кур немало.

– Люблю всякую живность, – ответила она. – Я раньше и кроликов разводила, и корову держала, и козу. Но с годами стало надоедать. Всё ведь на одни руки. Сын с женой приезжают раз в году. А мужа у меня давно нет. С курами моими, знаете ли, ныне прямо беда.

– А что такое?

– Да пропадают! Лиса ворует!

– Лиса? Неужели из тёмного леса сюда бегают?

– Откуда же? У нас тут кругом леса! Привязалась, подлюга, и нет от неё покоя! Наверное, с десяток курочек унесла! Ни к кому другому больше вроде не лазит. Почему только ко мне – пёс её разберёт. Может, прослышала, что живу одиноко и что из моего дома, наверняка, не выйдет мужик с ружьём и не жахнет в неё.

Полина сощурила тёмные глаза, показала кулак и из приветливой добродушной женщины превратилась в крутую мстительницу, вспомнившую невзначай заклятого врага.

– Ух, я бы эту заразу!.. – произнесла она, трясая головой в белом платке, завязанном на затылке. – Будь у меня ружьё, в ключья бы разнесла её крупной дробью!

– Сочувствую, – сказал я. – Самому не приходилось заводить кур; но понимаю вашу обиду и досаду. Своими руками вырастить, выходить, вскормить и полюбить животин, а потом их какая-нибудь зверюга утащит!

– В том-то и дело! – подхватила она. – Они ведь становятся тебе родными! Привыкают к хозяйке, и ты к ним привыкаешь, разговариваешь с ними, особенно, когда больше говорить не с кем! Покричишь: «Цып-цып-цып!» – летят со всех ног!..

Взгляд её обратился в пространство и печально затуманился. Она даже шмыгнула носом. А куры с петухом на голос Полины примчались к крыльцу, с разбегу пошарили глазами по земле и ушли разочарованные.

– А на гусей ваших лиса не нападает? – спросил я.

– Нет, гусей не трогает. С ними ей не справиться. Гуси сумеют за себя постоять.

– Наверное, вы как-нибудь боролись с ней? Пытались её поймать или отравить?

– А то как же? И капкан до сих пор ставлю! И еду, посыпанную отравой, кладу! И выслеживаю с дубиной в руке! Умная. Хитрая. Капкан и приманку обходит стороной. Застукать её трудно, чтобы оглушить дубиной по башке. Выберет подходящее время, запрыгнет на курятник, разворошит крышу и нападает сверху, как рысь, на бедных моих курочек. Они переполошатся, заорут со страху, захлопают крыльями, но пока я, если услышу, добежу до курятника, эта шалава прыг в лаз с курицей в зубах – и поминай как звали. Но не так давно я её всё-таки чуть не прищучила. Вот прямо чуть-чуть! Она у меня была почти в руках! Мы с ней сцепились в курятнике! Курицу друг у дружки вырывали!

– Как это?

– А вот так! Да вы зайдите в избу! Что у порога стоять? Я вам сейчас расскажу!

Я зашёл в горенку, сел на старый венский стул и послушал.

Женщина вдруг сменила гнев на милость: в её словах и интонациях мне послышалось сострадание к лисице, и лицо её расправилось и стало миловидным. Начала она свой удивительный рассказ с того, что у зверюги, верно, подрастали малы детушки, и, чтобы их сытно питать и учить охотиться, лиса умыкала у вдовы куру за курой. От себя замечу: в густых лесах вокруг нашей деревни полно всякого зверья, лис в том числе. Бродя по дебрям, я не раз встречал лисьи норы с узким входом, продолговатым, как амбразура дзота.

Гусятник Полины примыкал к сараю, а курятник устроился в сарае: слева, как войдётся – дровяник и место для вёдер, сельскохозяйственных инструментов; справа – загородка для кур и насест, сплошь заляпанные белым помётом. Возле невысокого сарая была сложена запасная поленница дров. Хозяйка прикрыла её от дождя клеёнкой. Время от времени Патрикеевна ночью пробиралась в деревню и, издали чуя и обходя собак, достигала подворья тётки Полины. Там она запрыгивала на поленницу, дальше на крышу сарая и, разодрав когтистыми лапами рубероид, находила щель в кровле. Обгрызая доски острыми зубами и расширив щель, воровка просовывалась в неё и соскакивала на земляной пол. Куры в ужасе слетали с насеста, кудахтали благим матом и трепыхались. Гуси тоже волновались и устраивали свой гусиный переполох. Злодейка нападала на кур, ловила одну из бедолаг и сигала с ней на дубовую бочку, на

поленницу, сложенную в дровянике, на всё, что повыше, а оттуда – под кровлю, в лаз. Так всё начиналось.

Хозяйка забивала лаз изнутри и снаружи, накладывала заплаты на порванный рубероид. Но лиса нащупывала в крыше новую слабинку и уводила у тётки очередную курицу. Полина и поленницы перенесла на другие места, и бочку в сарае сдвинула и перевернула вниз дном. Она попыталась изловить, обуздать, наказать лисицу разными способами, о которых уже мне поведала. Ничто не помогало. А воровка уже и подкопы стала делать, прямо под курятник, и через них стащила несколько хохлаток. Полина взялась за голову и расплакалась от злости и бессилия. Рассказывая мне, как плакала, она опять поносила лису словами: «подлюга», «шалава», «зараза».

Вскоре после того женщина и столкнулась со злодейкой. Она уже давно толком не спала. Полина выходила по ночам на крыльцо, прислушивалась и держала под рукой палку. Сидеть в засаде у курятника было нельзя: зверь чуял притаившегося человека и выжидал. Памятная ей ночь выдалась лунной и звёздной. Все предметы усадьбы хорошо виднелись в общих чертах: сарай, гусятник, дальше огород, ещё дальше пара яблонь, кусты малины и чёрной смородины, а вокруг двора покосившийся частокол. Где-то перекинулись лаями собаки – и наступила тишина. Деревня уснула.

Было тепло, а к комарам тётка Полина привыкла. Она задремала на крыльце на скамейке; но вдруг уловила настроженным слухом: куры в курятнике забеспокоились, зашевелились, закудахтали. Не успела хозяйка вскочить на ноги, как хохлатки истошно заорали вместе с пероравшим их петухом и захлопали крыльями. Загалдели и гуси. Она схватила палку и опрومتью побежала к курятнику.

Женщина боялась, что опять не успеет. Но нынче лисица промешкала. Заскочив в незапертый сарай, Полина зажгла электричество и ослепила хищницу. Та заметалась с курицей в зубах, кинулась было к подкопу, но хозяйка загородила ей дорогу. В панике воровка прыгнула на бревенчатую стену и сорвалась. Не кошка ведь она, а почти собака. Бросаясь туда-сюда, наткнулась на озлобленную мстительницу. Крестьянка подчинилась инстинкту сохранения частной собственности и забыла, что у неё в руке ударное оружие. Выпустив палку, она успела схватиться обеими руками за курицу и потянула её к себе. Лиса, мотая головой и упираясь лапами, потянула в обратную сторону. И так сильно они тянули, что у курочки задралось платье, съехали штанишки и оголился живот. «Отдай! – кричала Полина. «Ты отдай! – сквозь зубы цедила лиса. – Мои щенки кушать хотят! И сама я голодная!» «Это не твоё! – ругалась тётка Полина. – Ты воровка! Сколько кур у меня стащила! Что ты привязалась ко мне?» «У тебя много, а у меня ни одной!..»

– Так вот прямо она с вами и разговаривала? – сказал я, смеясь.

– Ну, не словами, конечно! – ответила Полина, проведя пальцем под носом и хмыкнув. – А видом своим! Как она разговаривать-то могла с курицей в зубах? И знаете, рычала по-собачьи, глазищами бешеными водила и морду собирала складками! Мне страшно сделалось! Думала, бросится на меня!

– А дальше-то что?

– Дальше? Курочка, понятно, умерла. Она её за шею клыками держала и придушила. Пока мы вырывали бедную друг у друга, шея курочкина, мне показалось, растянулась и стала очень тонкая, того и гляди оборвётся. Я не вытерпела и отпустила. Лиса тут же удрала с моим добром через подкоп.

– И всё? – спросил я.

– А что вы ещё хотели? Небось, накормила выводок, сама поела и где-то бегаёт. Жду, когда снова объявится. Похоже, я её крепко напугала.

– Вам бы собачку завести, – сказал я, вставая. – И ночью с цепи её спускать. Спасибо за занятную историю.

– Про собачку я подумываю. Может, заведу. Кошка у меня уже есть. А вам спасибо, что яйцо подобрали. Гусыня эта не в первый раз безобразничает: кладёт яйца, где попало.

Я интересовался у тётки Полины, не навевается ли к ней лиса. Нет, до конца лета Патрикеевна её больше не беспокоила. А потом, спустившись от своей избы в низину деревни, я увидел в помойной яме, устроенной некоторыми жителями у подножия горы, часть лисицы: голову с остекленевшими глазами, оскаленной пастью и примерно полтуловища с передними лапами. Она ещё долго проглядывала из-под помоев.

– Не ваша ли это разорительница там лежит? – спросил я Полину, пройдясь в очередной раз с ведром до колонки.

– Я ходила смотрела. Вроде похожа, – невесело ответила она, ёжась на крыльце от осеннего холодка. – Я её, правда, всего один раз видела, и то не при дневном свете, но, по-моему, она была как раз светло-рыжая. Собаки её, наверное, учуяли и задрали. Кто-нибудь отнёс на помойку. То-то больше куроцапка не показывается.

– Жалко лису, – сказал я.

– Жалко, – согласилась женщина. – И курочек мне жалко, и дуру эту, и её выводок. Если по правде рассуждать: это лисе так положено – кур у людей воровать, когда другая охота не клеится. Иначе сама с голоду подохнет и лисят уморит. Скорее всего, она не столько о себе заботилась, сколько о детях. Видно, хорошая была мамаша.

## «Лошадь пашет...» или Трудная жизнь и вечное блаженство

Вспоминаю одну мою хорошую знакомую, престарелую крестьянку из лесной деревни Владимирщины, из-под Мурома. Престарелая-то она была престарелая (ко времени нашего знакомства ей исполнилось шестьдесят восемь лет), но держалась бодрее многих молодых.

Долгое время эта женщина по имени Алевтина, а по отчеству Степановна, жила одиноко, лишь кот Васька был при ней в доме, а значит, она всё делала на одни руки: мыла, варила, ходила по воду на колодец, косила сено и колола дрова, вскапывала огород и собирала в нём урожай. Она, как родное дитя, холила свою корову Белку и приторговывала жирным Белкиным молочком и сбитым из молочка прекрасным маслом. Дачники наперебой заказывали у неё то и другое, пили, ели и нахваливали, а разъезжаясь по домам, прихватывали образцовые Алевтинины молокопродукты с собой: ни во Владимире, ни в Москве таких не купить. Ко всему Алевтина страсть как любила вязать из овечьей шерсти, и чтобы шерсть всегда была под рукой, чтобы не искать её днём с огнём по деревне, держала собственных овечек.

Всё происходило на моих глазах. Сперва наше маленькое семейство: я, жена моя Вера и внучка Аня – жили у Алевтины на постое, по месяцу-два несколько лет с перерывами, а позднее, когда приобрели мы в той деревне собственный крестьянский домишко, то часто ходили к старой знакомой в гости.

Вижу Алевтину на её излюбленном месте – в кухне у окна. Левый верхний угол кухни, как войдешь из сеней, облагорожен крупной иконой, потемневший золочёный оклад которой сверху накрыт чистеньким расшитым полотенцем, справа к стене приставлен несовременный посудный шкаф со стёршейся местами, красноватой полировкой, с незатейливой резьбой, круглыми стойками, поддерживающими верхний ящик. Сидя на крашеной лавке боком к окну, Алевтина прядёт – это одно из милых её сердцу занятий. Её ручная прялка устроена так («от прабабушки досталась»): широкая доска в основании, называемая донцем, а в донце с краю вставлена доска поуже – эта называется шестиком, вот и весь агрегат. На досках, если внимательно приглядеться, заметны когда-то яркие цветные узоры. Станок поставлен на лавку, и пряжа, чтобы он не двигался, сидит на донце. Шестик торчит вверх под углом к донцу. Сверху к нему верёвочкой притянут клоч овечьей шерсти – кудель. Одной рукой Алевтина раздёргивает кудель, на ходу скручивая прядку в нить, а другой, сжимая веретёнце, помахивает им вкруговую, сматывает нить. Всё – как встарь, в сумерках не хватает ещё лучины...

Очень меня интересовало отношение Алевтины к Богу, и однажды я, кивнув на икону, спросил:

– Алевтина Степановна, вот, гляжу, у вас такая хорошая икона, чувствуется, старинная, в золочёном окладе. Вы бережёте её, всегда перед ней горит лампада. Стало быть, вы истово верующий человек? Но я ни разу не видел, чтобы вы молились. Вообще-то вы молитесь, простите за нескромный вопрос?

– Да, – ответила она, – молюсь. Но на людях не люблю. Прилюдно молилась только в церкви, когда была моложе и ходила на праздничные богослужения. Очень уж от нас церква далеко, а то бы и сейчас ходила. А дома молюсь, когда никого рядом нет, а если кто есть, молюсь молча. У нас ведь с Богом свои секреты. Зачем их всем знать?..

А вот о чём я и жена моя вели с Алевтиной по вечерам долгие разговоры.

Внучка наша Аня после игр на свежем воздухе быстро засыпала в горнице, а взрослые сидели в кухне, закрыв остеклённую дверь в горницу и выключив радио на стене над столом, чтобы не мешало разговаривать. Пили чай с конфетами и вареньем. Потом хозяйка снова бралась за работу. Руки её большие, обветренные, припухлые, не могли отдыхать, им необходимо было всё время действовать: прясть, вязать на спицах или сбивать масло на примитивной мас-

любойке. Мы спрашивали Алевтину о её прошлом житье-бытье, и она охотно рассказывала. Я и жена сами были уже не слишком молоды и что-то из того, о чём она вспоминала, также знали: о бесплатных колхозных трудоднях в послевоенные годы, об изнурительных полевых страдах «за палочки» в ведомости, – но кое-что мы слышали от Алевтины впервые.

– Я работать пошла с двенадцати лет, ухаживала за телятами на ферме, десять телят опекала. Семья у нас была многодетная, отец рано умер. Закончила четыре класса, вот и вся моя учёба. Ни одёжки не было, чтобы в соседнее село в школу ходить, ни обуви. Ещё косила, снопы вязала, полола в поле, картошку из буртов выбирала... А в войну в лесу работала, – звучал высокий, бодрый, но как-бы всплакивающий Алевтинин голос, каким, между прочим, – не к печали будет сказано, – профессиональные плакальщицы причитают над покойником, а глаза её поглядывали не столько на слушателей, сколько на дело в руках, – живицу я добывала. Это сосновая смола. Живицей её прозвали, наверно, за то, что всегда она живая: не гниёт, не киснет, пахнет хорошо, сосной, солнечный свет сохраняет и медовый цвет. Жили мы в деревне, у себя дома, а на работу в лес ходили за четыре километра. Живицу добывают так: делают на соснах надрезы, «ёлочкой», а под ними пристраивают посуду – воронки без дырок; раньше всё железные были воронки, а теперь встречаю в лесу пластмассовые. В воронки живица и капает. А потом ходят добытчики, из воронок сливают в ведра. Тащишь, бывало, два ведра, в каждом десять килограмм живицы, а за смену надо её собрать и слить в бочки сорок ведер на человека. Зимой живица замерзает, в эту пору мы ходили по лесу ошкуривали сосны – тот участок на стволе, может, с метр длиной, где будет делаться надрез. Шагаешь по сугробу, на плечах стёганный ватник, на ногах подшитые валенки, на голове тёплый платок, на руках брезентовые рукавицы. Кругом лес, где-то сучья потрескивают, заячьи следы по снегу петляют, сосны под ветром качаются и шумят... Ещё зимой мы веники вязали, по шесть копеек за веник, тысяча веников – шестьдесят рублей. Или ошкуривали брёвна для пилорамы. А весной, летом, осенью, до заморозков – живица. В любую погоду работали: зной – не зной, дождь – не дождь, мороз – не мороз. И застуживались, и потом исходили, и комарьё заедало так, что лица опухали, в рожи превращались. Эх, как вспомнишь!..

Алевтина махала рукой и посмеивалась. Она была женщина жизнерадостная, но почему-то иной раз смеялась не в шутейную минуту, а рассказывая о тяготах своей жизни.

– Можно спросить вас, Алевтина Степановна, – как-то раз поинтересовался я, собираясь писать об Алевтине очерк, – для чего она нужна, эта живица?

– А для нужд фронта, – ответила крестьянка языком тогдашних газет и радиосводок Совинформбюро. – Оборонный заказ. Из живицы, оказывается, взрывчатку делали. Вот оно как!

– Взрывчатку?

– Ага. Порох, что ли.

– Вот это да! – Я причмокнул языком и с боку на бок качнул головой, выражая своё невежество, изумление и уважение к факту, что из сосновой смолы делали взрывчатку. – Ну, извините, что перебил. Давайте дальше.

– Дальше-то? – сказала Алевтина для разгона. – Что же дальше?.. Было мне в ту пору, когда в лесу работала, семнадцать лет, уже невестилась. А будущий мой супруг Николай участком нашим руководил. Мне семнадцать, начальнику двадцать. Под его началом только бабы, девки да подростки, а мужики и парни – все на войне... Я весёлая была, частушки пела, плясала, за словом в карман не лезла, в общем, как-то выделялась среди остальных. Николай глаз на меня положил. Приглянулись мы друг другу, полюбились, а через пару лет я замуж за него вышла. Свадьбу какую-никакую в деревне сыграли, без разносолов, но с гармошкой. Бабы с девками по полрюмке самогона выпили и запели, заплясали «Сашоночку» да «Елецкого», потом заплакали. Жених на гармошке играл... Он мне позже рассказывал, как его к участку приставили. В аккурат перед войной Николай закончил в Архангельске лесной техникум, и

его направили к нам во Владимирскую область. А тут – сразу война. Вызвали парня в одно хитрое владимирское учреждение, к какому-то строгому военному. «Ты отличник учёбы, лучший выпускник, комсомолец, будешь руководить участком по добыче живицы в Селивановском районе», – военный говорит. «Не буду, – отвечает Николай. – Вы за кого меня считаете? Пойду на войну, хоть солдатом, хоть на ускоренные офицерские курсы посылайте. Мой возраст – призывной. Сверстники уходят, и я пойду». «А я говорю, будешь руководить участком». – «Нет, не буду. Не буду – и всё. Не умею я. Ещё не работал даже». Тогда военный достаёт из кобуры наган и кладёт на стол. «Вот. Если хорошо потрудишься, выполнишь задание Родины, похвалим, орденом наградим, а станешь артачиться, валять дурака – пуля в лоб, и весь разговор. Ты военнообязанный и подчиняйся приказу».

– Страсть какая! – Моя чуткая жена передёрнула плечиками, прикрытыми шалью. Вечерами в деревне бывало прохладно. Местность тут крутая, почти гористая, а Алевтина жила в низине, рядом с быстрой студёной речкой, по ночам от которой тихо, крадучись, как заходящее в тыл противнику войско, двигался на деревню туман.

– Да, страсть, – сказала хозяйка. – Ещё какая страсть-то! Это ведь всё без шуток. По законам военного времени кокнули бы из нагана и глазом не моргнули!

– И что же, ваш супруг выполнил задание Родины? – спросил я.

– Выполнил, ясное дело, раз жив остался, даже в тюрьму не угодил. Мы изо всех сил старались работать, уважали его.

Алевтина пояснила, что супруг был у властей в большом почёте, и обещанный орден ему выдали. Но после войны, сказала она невесело, стал мужик чудить, запил неожиданно и с каждым годом пьянствовал сильнее, по-чёрному.

– Как с ума сошёл. – Она свела брови, усиленнее заработала руками, острее вглядываясь в то, что делала. – Словно бес в него вселился. Трезвый – ангел, любит всех, прощения просит. А напьётся – зверь зверем, орёт: «Сволочи! Убью!», – крушит мебель топором, жену и детей лупит чем попало и из дому гонит. Бог знает, какие ему видения в это время мерещились. Может, то, как он опять в лесу надрывается, а мы – не близкие его, не родная ему семья, а фашисты, за кустами прячемся? «Убью-ю-ю!» – так и стоит до сих пор в ушах, и кулак мужнин вижу, и топор... Я уж и к ворожее в соседнюю деревню тайком ходила. Может быть, думаю, кто заколдовал моего мужа? Она карты раскладывала, бумагу жгла, воск топила, заставляла меня с зажжённой свечкой в полночь стоять и в разбитое зеркало смотреть: не покажется ли кто из темноты. Даже велела кольнуть палец и выдавить в водку каплю крови, а как муж захочет утром опохмелиться, налить ему в стакан и подать. «Есть у него, – говорит, – один тайный враг, которого мужу твоему надо изничтожить. Пока не изничтожит, будет такой неистовый...» Пустые слова. Что за тайный враг? А если и существовал такой, то как же его изничтожишь? Убить, что ли, надо было? Так за это расстрел полагался, сам себя изничтожил бы... Исхудал муженёк, лицо – как рыба вяленая, как вобла без чешуи. Я его жалела, не разлюбила ведь. Скрывала от всех то, что с ним происходит. Может, наоборот, не нужно было скрывать? Однажды я попробовала. Пошла к нашему партийному секретарю, потихоньку от мужа, конечно. Муж в леспромхозе тогда уже работал, начальником. Так и так, говорю, выручайте, Галина Андреевна. «Что у тебя?» – «Да муж вот дурит. Закладывать стал шибко». – «Ну, милая, пьян да умён – два угодья в нём. Твой муж, Жёлудева, отличный работник и партиец, любимый наш начальник. Ты вот простая женщина, а он видный, заслуженный, орденосец, гордись им. Не надо накалять обстановку. Не будь такой сердитой, а то он от тебя сбежит. Относись к мужу ласковее, терпимее, осторожнее. Муж выпьет, муж прийдёт, но он же и кормилец, и защита ваша. И вообще ты счастливая. Посмотри, сколько женщин после войны остались вдовами, а у тебя муж – живой». Я и прикусила язычок... И что интересно, так ни один человек толком и не прознал о том, что у нас в доме творится, как мой супруг над семьёй измывается. Одна я слёзы глотала, да дети со страху по углам прятались. Дети тоже никому не рассказывали,

стыдились... На работе-то он не пил, в контору являлся выбритый, в пиджаке, при галстукке, и работал, конечно, всегда хорошо. Партийные собрания исправно посещал, выступал на них, все заслушивались... А наши деревенские тут не в счёт. Слышали, как Жёлудев пошумливает, да махали рукой: почти у каждого в семье какие-нибудь свои нелады. Ровно в тридцать пять лет он сгинул, чуть не на свой день рождения. В октябре это было. Пришёл в тот день даже не сильно выпивший. «Я, – говорит, – Алевтина, что-то сильно озяб и устал. Ты печь истопи, а я посижу отдохну». Сел в кухне на стул, привалился к спинке, захрипел, пена изо рта, и помер. Сердце было никудышное и враз отказало. Допился, дурачок. Оставил меня с двумя детьми...

Особый рассказ был у неё про покойного сыночка Витю. Алевтина Степановна и не помнила, наверно, что повторяла его нам неоднократно, всегда почти одними и теми же словами. Всякий раз она переносила горе заново. Её душевная рана за долгие годы, очевидно, не зажила, саднила, кровоточила, только потрясение ушло вглубь. Сын её учился в Муроме в школе-интернате и на отлично закончил десятилетку. Умный он был, красивый, спортивный. С направлением военкомата парень готовился пойти в военно-морское училище, но летом накануне поездки в Ленинград сломал шейные позвонки, нырнув в Оку и обо что-то в воде ударившись. Работа выпадала у Алевтины из рук. С пугающим взглядом, утратившим направление и осмысленность, женщина бормотала, и губы её тряслись:

– В сознании Витенька умирал. «Ты, – говорит, – мама, не плачь, не волнуйся. Я подлечусь и поступлю в военно-морское училище». А сам еле языком ворочает, белый от боли... Знали бы, какой он у меня был. Такие мальчишки редко встречаются. Все бабы мне завидовали. И стирал, и варил, и косил, и в избе прибирался... Он ко мне ночью приходит, встанет в дверях, озарится небесным светом и зовёт: «Мама, это я, Витя, вставай, я к тебе пришел». А я не верю, прошу: «Ну-ка, повернись ко мне спиной, заверни рубашку, я посмотрю: у моего сына на спине две родинки были, одна возле другой». Повернётся, поднимет рубашку: правда, есть две родинки, там, где надо. Я к нему: «Витя!» А его уж нет, это мне видение было...

А за окном становилось совсем темно. Со двора к нам заглядывала отцветшая сирень, высвеченная электричеством из кухни. Охапки её пышных ветвей то замирали в безветрии, то качались под ветром и разбрасывались во все стороны крепкими его порывами. Если выйти на крыльцо, то услышишь, как неподалёку рокошет по перекатам речка, как трепещут и попискивают на уличных деревьях засыпающие птицы. Голоса человеческие, тем более юные, весёлые, слышались редко, деревню в полсотни домов населяли, главным образом, люди не слишком молодые и совсем старые, да ещё кое-какие дачники из Владимира, Муромы и Москвы. Глянув в ясную ночь с крыльца, видел я силуэт леса на высоком взгорье. Ночью лес пугал и настораживал. Вдруг принимался накрапывать дождь. Он скоро расходился, шлёпал крупными каплями по земле, щёлкал по крыше дома, как град, как горох, и через мгновение шумел всюду, заглушая рокот реки.

Когда шёл такой замечательный дождь, Алевтина вслушивалась в него и с необыкновенным блеском в глазах, ясно выражая лицом предвкушение счастья, произносила целый художественный монолог:

– Ух, какой лёт! И теплынь на дворе. Стало быть, пойдут грибы. Промочит как следует землю, и повывскакивают дружные ребята – сперва по опушкам, по полянкам, по бровкам и канавкам, где свету больше, а травы меньше. И чельши, и маслята нарастут, и подосиновики, и беленькие. Рыжикам тоже пора. А грузди и волнушки – ближе к осени, это поздние грибы... Хорошо-то как! Удовольствие большое по лесу с корзинкой бродить! Ягоды – я как-то не очень... Нет, беру на варенье, но словно повинность исполняю. А грибы и собирать, и чистить, и готовить люблю!

\* \* \*

О том, что она делала зимой, я мог судить со слов нашей хозяйки: пряла, вязала, ухаживала за коровой и овечками, топила печи два раза в день, в комнате и кухне: морозы тут стояли трескучие и одной топки для обогрева не хватало, – расчищала сугробы перед домом. Но в дачный сезон я видел, как Алевтина Степановна проводит всякий летний день.

Поднималась крестьянка с постели в три-четыре часа. Иногда, просыпаясь, я слышал её. Вот она в кухне или сених шагает по скрипучим половицам, вот поставила ведро, звякнув дужкой, вот перемещает по полу что-то тяжёлое, а вот – звуки доносятся издалека – на крытом дворе о чём-то весело разговаривает с коровой Белкой, и животное радостно мычит в ответ. Подоив её, Алевтина выгоняла корову в смешанное стадо, – коровы в нём были, козы и овцы, – бредущее на рассвете мимо её калитки, подгоняемое пастушьими криками и хлопками кнута, а как светлело, брала косу, шла на берег реки, косогор, опушку леса и по росе косила.

Она рассказывала мне про свои ощущения в этой лихой работе. Тело её под взмахи косы наливалось силой, ноги прочно стояли на земле, руки двигались уверенно, не знали усталости, из головы быстро исчезали ватные остатки сна, и на душе становилось хорошо, как в молодые годы. Ей нравилось видеть зарю, пламенное возгорание солнца за лесом, слепящий отблеск восхода на отточенном лезвии косы. Её слух улаждали птичьи голоса и звуки косьбы – ритмичные лёгкие музыкальные посвисты. Даже сырость на платье и резиновых сапогах лишь в первые минуты холодила, раздражала, но дальше была приятна женщине, бодрствующей спозаранку.

Покосив вволю, Алевтина шла прямо в огород: окучить картошку, «собрать жука», выдернуть сорную траву из грядок. Огородные работы не слишком ей нравились, она признавалась в этом, но так же усердно выполняла их, как все остальные. Алевтина привыкла надеяться только на себя, всё умела и ничего не умела делать плохо. Я помню её ухоженные картофельные бровки, старательно выдержанные по параллельным линиям, её ровные овощные грядки с прореженной ботвой моркови, с подвязанными к колышкам ломкими стеблями помидоров... Всё было прополото, полито, унавожено, и лишняя трава в огороде старательно выкашивалась, и крепко подпиралась колыями старая шаткая ограда, и чернели, краснели от обилия ягод кусты смородины, малины, крыжовника, благодарные хозяйке за добрый уход, и по всему огороду то здесь, то там красовались маки, мальвы, флоксы, настурции...

Часам к семи Алевтина кипятила чай на газовой плите (зять – о нём речь ниже – поставил ей плиту с балонным газом), жарила картошку или варила кашу, готовила овощной салат, выставляла на стол из холодильника (тоже подарок зятя) сметану, молоко, творог и будила нас стуком в дверь и командой:

– Дачники, подъём! Завтракать!

Она отдала в полное наше распоряжение большую светлую горницу, а сама ночевала в смежной с горницей тесной комнатке.

– Спасибо! – отзывались мы с женой и, встав с широкой старинной постели, прерывали сон внучки, так сладко спавшей на раскладушке. Анята обычно просыпалась легко. Тут с ней хлопот не было.

Бабушка и внучка шли к рукомойнику с подкидывающимся штырьком, а я спешил пробежаться до речки по каменистой дорожке. Зачинался наш день беззаботных дачников. Стыдно было перед пожилой женщиной, которая на рассвете успевала изрядно поработать да ещё за нами ухаживала, но что тут поделаешь, к неловкости, оказывается, можно привыкнуть. В кроссовках на босу ногу я трусил к мосту над бурным потоком, скачущим по известковым камням. Речку недалеко от моста давно запрудили, она прорывалась сквозь узкое горло – в этом заключался секрет её стремительности. На противоположном берегу перед запрудой раз-

лилась тихая заводь, и в окружении больших старых ив, склонившихся над ней, образовался уютный песчаный пляжик. Местные дети купались здесь и ныряли в ледяной воде, выхоленной донными родниками, а я, худой зябкий человек, боясь переохладиться и камнем пойти ко дну, омывался так, словно принимал святое крещение: заходил в купель, плескал себе на грудь, плечи, лицо и, очищенный от суетных помыслов, выходил на берег. Растеревшись полотенцем, я вешал его на плечо и, по пояс голый, шёл назад, отмахиваясь от комаров.

Садись завтракать. На свежем воздухе постояльцы нагуливали отличный аппетит, и хозяйка рада была потчевать нас и не требовала платы за свои продукты. Анюта, правда, ела неважно. Дед с бабкой и в городе затруднялись её кормить, и в деревне мучались, но не отступали: она казалась нам слишком худощавой и бледноватой, каковыми, наверно, все внуки на земле кажутся своим дедушкам и бабушкам.

– Ешь, ешь! – говорил я Ане. – Не смотри по сторонам, не лови ворон! Бери ложку и рубай салат!

– Деда, салат я не люблю, – отвечала наша очаровательная пятилетняя малышка. По деревне она ходила в цветастом сарафанчике и белом платочке, и я звал её барышней-крестьянкой.

– Ладно, ешь картошку.

– Картошку я тоже не люблю.

– Ну, пей тогда молоко, – говорила моя жена Вера, проявляя свое незаурядное педагогическое терпение. Оно у неё обретенное, профессиональное. – Есть, вообще, что-нибудь такое, что ты любишь?

– Знаешь, бабуля, молоко мне, ну, вот совсем не хочется. Можно я чаёк с конфеткой и печеньем?

– Нет, Анечка, так дело не пойдёт, – мягко брала на себя кормление ребёнка Алевтина Степановна. – Ишь, какая хитренькая: чайку ей с конфеткой и печеньем! Надо, милая, кушать всё, что подают. Салат – вкусный и полезный, со сметанкой он, с луком и чесноком, одни витамины. Картошечку тоже попробуй, я старалась, жарила на русском масле. Не обижай меня, не отказывайся. Ну-ка, поешь салату и картошки, тогда получишь не одну конфетку и не одно печенье, а много!

– Мне не хочется...

– Нет, ешь. Кушай на здоровье, – говорила Алевтина настойчивее и гладила осторожно Анюте маленькое хрупкое плечо.

– Хорошо, тётя Аля. – С кислым видом девочка ковыряла ложкой в тарелке, но всё же слушалась старушку и потихоньку ела.

Глядя на Алевтину Степановну по утрам, я всегда удивлялся тому, что после четырёх-пяти часов сна она остаётся свежей, спокойной и доброжелательной. Если жизнью человеческой считать неустанный труд, «активную деятельность», думалось мне, то эта немолодая женщина прожила на свете больше лет, чем прожили её одногодки, особенно в городах, так как спала меньше их, а работала больше.

– Неужели вам совсем не хочется спать? – пытал я хозяйку. – Чувствуете-то себя нормально? В сон не клонит? Голова не кружится?

– Нет, ничего, – отвечала она, попивая чаёк из блюдца в прикуску с сахаром. – Сперва, лишь встану ни свет, ни заря с постели, голова делается вроде как каменная, худо соображает. А стоит поработать мне на воздухе – и сна ни в одном глазу. Я однажды решила, знаете ли, днём поотдыхать. Годы, думаю, всё же немолодые, давление, сказали врачи, высокое, буду-ка беречь себя, спать после обеда. Так, верите, не смогла. На какой бок ни повернусь, всё кажется жёстко, неудобно. Через полчаса бока отлежала. Повертелась на постели, разозлилась и поднялась. С тех пор днём больше не ложусь. И как это люди могут подолгу спать, не понимаю.

– Вы просто чудо какое-то! – говорил я. – Феномен! Вас надо учёным показывать, исследующим возможности человеческого организма! Некоторые люди, я слышал, могут по сорок дней не есть, без всяких неприятностей для себя. А йоги способны умирать не до смерти, временно останавливая работу своего сердца. Вас надо ко всем этим необыкновенным личностям причислить и изучать. Если бы сам не знал, как вы мало спите и много делаете, никогда бы этому не поверил!

– А никакого чуда и нет. – Она улавливала, наверно, лёгкую шутливость в моих словах, а я слышал в её ответе вежливую отповедь. – Говорю, привычка. Я сельская женщина и с детских лет приучена к такой жизни. В деревнях все женщины выносливые, терпеливые и на все руки умелые, не одна я. Мужики, конечно, покрепче нас и поспособнее будут, но они скоро выдыхаются. Им бы сразу: выполнить пусть хоть самую тяжёлую работу и – шабаш, ноги задрал и лежи покуривай. Вот на войне они были молодцы, тут ничего не скажешь. Воевать наши мужчины умеют.

– Мы много чего умеем и ни в чём вам не уступаем, – возражал я в шутливом тоне. – Что уж вы так принижаете мужчин, Алевтина Степановна?

– Да ладно. Это я для смеха. – Она улыбалась чему-то и вдруг рассказывала с девичьим задором, горделиво поведя плечом: – А видели бы вы меня в молодости! С работы, бывало, придёшь, наломаешься в лесу на подсочке – на добыче живицы, стало быть, – и кажется, нет больше сил, от усталости с ног валишься. Но посидишь малость, съешь кусок хлеба, сырого, замешанного неизвестно с чем – такой в войну пекли, – попьёшь молока, и вроде сил полно. Ни у кого из девчонок и мысли такой не мелькало, чтобы завалиться после работы отдыхать, если уж только приболел кто. Мы каждый день вечеринки устраивали, одевались понаряднее и ходили друг к другу в гости: сегодня к тебе, завтра ко мне, послезавтра к третьей девчонке. Так было принято. Избу для вечеринок всем миром убирали. Вина – ни капельки, только еда, кто что принесёт, да чаёк, порой заваренный на хлебной корке, зато настоящий на разных душистых травах. Сидели разговаривали, кто-нибудь потешал всех смешными рассказами. Пели под гармонь частушки, страдания, плясали до упаду. Я уже рассказывала вам, что весёлая была, плясать любила. Скажу, не хвалясь, что всех я переплясывала. Меня и прозвали Алька-плясунья... А утром опять на работу. Позднее, когда мужа я схоронила да сын мой Витя погиб... Сынок Витенька... Когда погиб... – Она мужественно преодолела спазм в горле, и голос её, упавший чуть не до шёпота, тут же опять восстановился. – Тогда уж я стала в церковь ходить. И не больно молода была к тому времени, а десять километров до церкви отмахивала запросто. Мы вдвоём с подругой вечером после работы на церковные праздники ходили. Отстоим службу – и ночью назад, короткой дорогой через лес. Туда и обратно двадцать километров. Рано утром возвращались. На работу не опаздывали.

– Двадцать километров – после дня тяжёлой работы! – воскликнул я. – Да ещё – выстоять церковную службу, а оно само по себе нелегко! Просто фантастика! Честное слово, трудно поверить!

– Неужели не страшно было? – спросила моя жена, зябко поёживаясь.

– Нет, не страшно, – ответила Алевтина теперь рассеянно, всё же думая, наверно, о тяжком, сокровенном, что вмешалось в разговор с промелькнувшим в нём упоминанием о покойном Вите. – Что в лесу страшного? Страшно горе, а не тёмная ночь и не дремучий лес. Дорогу мы знали хорошо и никогда бы не заплутались, звери сами человека боятся, обходят стороной, злые же люди у нас тогда редко водились.

Конечно, я и жена чуть не ежедневно с утра спешили по грибы. Иногда, отправляясь поближе, мы брали Анюту с собой, но чаще всего нацеливались на такие далёкие марш-броски, что приходилось оставлять ребёнка дома. Не знаю, почему мы ни разу не сходили в лес вместе с хозяйкой. Трудно сказать. Я и жена думали, что напрашиваться неудобно. Алевтина же никогда

не звала нас за собой, и никого другого, между прочим, на моей памяти она не звала, и ни с одной компанией не соединялась, явно предпочитая в лесу одиночество и независимость...

Мы топали пешком, а она нередко добиралась до леса на колёсах. Зять Павел Алевтину увозил, муж её дочери Насти, родившейся следом за Витей. Зять, рассказывала Алевтина Степановна, с молодых лет славился мастерством на все руки, твёрдым характером и цепкой хозяйской хваткой. Он был такой же незаурядной личностью, как его покойные отец и дед, из которых дед погиб на войне, а отец умер скоропостижно. Двенадцати лет от роду Павел остался один: вслед за отцом так же скоропостижно умерла его мать. Вырос он в муромском детдоме, окончил техникум и вернулся к себе в деревню, в отчий дом, который самостоятельно отремонтировал и привёл в порядок. С начала девяностых годов он решил стать сельским предпринимателем и для начала взялся копить деньги на грузовой автомобиль. Много из того, что они с Настасьей производили в своём хозяйстве, отдельном от хозяйства Алевтины Степановны, они продавали, Павел ещё что-то скупал и перепродавал; но главным образом, он, надрывая живот, с утра до ночи перевозил на мотоцикле дрова, сено, овощи, навоз, сняв с пассажирской коляски кузов, а вместо него настелив доски, да ещё прицепив сзади самодельную платформу. Заказов было много – от жителей собственной деревни и окрестных деревень. Отъезжая в нужном тёще направлении, зять прихватывал с собой Алевтину. А из леса она добиралась сама.

Не раз доводилось нам видеть, как Павел увозит её из деревни по выщербленной ветке асфальтового шоссе. На загляденье молодецки, словно гарцующий кавалерист, держался он в седле за рулём своей машины. Налёта легкомыслия, между тем, в его усатом загорелом лице не было – лицо серьёзное, умное, сосредоточенное, как посмотришь на такое, сразу начинаешь уважать человека. Заметив на прогулке нас с женой и внучкой, Павел кивал, а я в ответ приветливо вскидывал руку. Близко мы с ним ещё не познакомились, но при встрече здоровались. На заднем сиденье обычно ехал его грузовой помощник старший сын Вова, а сбоку на досках сидела Алевтина Степановна, одной рукой цепляясь за переднее седло или какую-нибудь железяку, а второй прижимая к себе драночную корзину с брезентовым наплечным ремнём. Пассажирка подпрыгивала, сильно раскачивалась на неровностях дороги и смеялась, съезжая по доскам и, вероятно, намозоливая себе на жёстком сиденье мягкое место. На голове её белел платок, лихо завязанный сзади. Широкое лицо крестьянки было молодо, радостно, безмятежно, и с трудом верилось, что возраст её вплотную приблизился к семидесяти годам и что жизнь она прожила непростую: ломила с детских лет и настоящее горе мыкала. На миг зажав корзину между коленями, хозяйка махала нам рукой, быстро удаляясь, уменьшаясь в перспективе дороги.

И вот что Алевтина Степановна рассказывала потом о своих грибниковских вылазках. Как, наверно, заметил читатель, она любила рассказывать, а мы любили слушать.

Знакомой тропой уходила крестьянка от дороги к лесу. На некошенной траве луга блестяли остатки росы. В лесу Алевтина сперва поднималась в долгую крутую гору. Лес тут был густой, тёмный, поэтому, возможно, пугаясь его дремучести, мало кто хаживал её излюбленным путём. Но минут через десять упорного восхождения открывалось светлое плоскогорье. На плоскогорье рос сосновый бор, старый её друг и соратник по труду. Живицу в нём давно никто не собирал. Сосны-ветераны обросли толстой слоистой корой и серым сухим лишайником, поднявшимся от подошвы на полдерева. Алевтина Степановна искала рабочие насечки на знакомых ей многолетних деревьях и некоторые не без труда находила. Когда-то они были страшны, как боевые раны, но давно зарубцевались, заплыли янтарной смолой. Она гладила кривую, горбатую сосну-долгожительницу и говорила:

– Совсем мы с тобой старушки. Ничего, ещё поскрипим.

«Поскрипим», – слышался ей деревянный голос из корявого стволища, с глухим стуком и чирканьем прикладывавшегося к плечу молодой здоровой сосны.

Летом в бору грибов не было, они нарастали в нём по осени. Огибая бор, Алевтина Степановна шла дальше по просёлочной дороге, туда, где между широко расставленных природой мачтовых стволов уже проглядывало зелёное невозделанное поле. Раньше его вспахивали и засеивали пшеницей, потом запустили, и оно поросло травой, цветами, побегами сосны и берёзы – потомством окружающих лесов. С трёх сторон его окружал березняк, а замыкалась кольцевая опушка великолепными соснами бора. Простившись с бором, Алевтина пересекала поле и у берёзовой рощи останавливалась, переводила дух. Всю жизнь крестьянка ходила по лесам и то с горы, то из распадка вглядывалась в их разнообразные картины, в сложные цветные узоры, сочетавшие оттенки хвои и листвы, но никогда не пресыщалась она лесом – всякий раз с любовью видела его заново. Берёзовую рощу она особенно любила. Прелести рощи связывались у Алевтины с воспоминаниями молодости, берёзы казались ей девушками-подружками, выбежавшими к полю поиграть. Пожилая женщина не сознавала и не ощущала себя пожилой. Она говорила нам, что стесняется своей внутренней несолидности и, смотрясь иногда в зеркало, думает о том, что её морщины, жизненный опыт, натруженность рук и ног – всё это не соотносится с состоянием её духа. В берёзовой роще Алевтине хотелось по-девчоночьи «беситься», петь, кричать от восторга и прыгать на одной ноге. Никогда бы она не покинула родные края, говорила себе Алевтина Степановна, ни на какие блага жизни не променяла бы свою деревню и окружающие её поля и леса, а если бы смогла, то ещё раз появилась бы тут на свет, прожила жизнь и состарилась! Но не забывала она и смотреть вниз, вглядываться в траву и палую листву ещё довольно острыми глазами, видевшими без очков. И вдруг находила белый гриб и, взяв его в руки, умилялась над ним: «Господи! Красота какая! Просто невозможная! Вечно жить и видеть её хочется! Что за силы такое чудо сотворили?»

\* \* \*

Два года мы в деревню по разным причинам не навещали. Когда же вернулись к Алевтине на постой, то увидели, что внешне крестьянка изменилась мало и что по-прежнему она встаёт спозаранку и не покладая рук занимается делом.

– Сердце у меня ещё ничего, – сказала Алевтина Степановна, – и с давлением справляюсь, нога вот только что-то взялась болеть. Болит и болит у чиколки (так она попросту называла щиколотку). Ударилась, что ли, где, или отложение солей?.. Но в лес ходить и по дому работать это не мешает, болит терпимо... А посмотрите-ка, сколько я всего наготовила! Пойдёмте, покажу! – И засмеявшись смущенно – оттого, наверно, что вздумала прихвастнуть, – хозяйка повела нас к погребу, его люк выходил в кухню вблизи основания газовой плиты.

До этого случая нам не доводилось заглядывать в погреб к Алевтине. Она сама доставала из него картошку, лук, чеснок, свёклу и морковь, кабачки и тыквы, солёные помидоры, огурцы, грибы, мочёные яблоки, компоты, соки и варенье. Но, конечно, я и жена любопытствовали: что у неё в погребе, бездонный склад фруктово-овощных продуктов, что ли? И вот Алевтина Степановна откинула перед нами крышку люка, зажгла переносную электрическую лампу, подвешенную в погребе к опорному столбу, и указала на приставную лестницу:

– Полезайте.

Мы с женой спустились по лестнице, внучка полезла за нами. Чего только не было в большом прохладном погребе, и всё тут содержалось в полном порядке. Груда картошки лежала у стены за дощатым ограждением. На картофелинах белели корни ростков, оборванных Алевтиной. Клубни моркови и свёклы хранились у неё в деревянных ящиках, пересыпанные речным песком. С чем-то бочки в углу стояли и многолитровые бутылки тускло поблескивали. Но главное, что мне бросилось в глаза – это множество разновеликих стеклянных банок с консервированными соленьями и вареньями. Они занимали трёхъярусные полки, и на каждой белела рукописная наклейка. Я даже ради интереса стал наскоро считать банки и на пятидеся-

той остановился. Когда мы вылезли из погребка, внучка наша первой заговорила с Алевтиной Степановной:

– Как у вас там интересно! Много всего!

Она сызмала была вежливой и ласковой девочкой, но, сделавшись старше и разумнее, приобрела замечательное свойство, какое есть не у всякого взрослого: потребность в нужный момент сказать человеку что-нибудь приятное. Не раз Аня и меня радовала словами: «Деда, мы с бабушкой прочли твой рассказ, и он нам понравился».

– Прямо выставка сельхозпродуктов! – польстила хозяйке моя жена с лёгким непритворным ошеломлением. – Неужели вы это сами всё заготовили?

– А кто же ещё? – ответила Алевтина.

Сели, как бывало, в кухне попить чайку, и я продолжил разговор о хранящихся в погребе съестных припасах. Хотел побалагурить, но шутка вышла какая-то несурзкая, не очень вежливая. Я поздно спохватился, но шутка была уже на языке:

– Куда вам столько, Алевтина Степановна? Вам всего этого до конца дней своих не съесть! А вы всё заготавливаете и заготавливаете!

– Да я же не для одной себя, – сказала она. – Много ли мне надо? У меня ещё дочь, зять да пара внуков, и у всех аппетит хороший.

– А сами они, что, не участвуют?

– Почему? Участвуют. Заготавливают и сами, но теперь мало. А по грибы и ягоды совсем редко ходят. Когда им? Паша и Настя с утра до ночи предпринимательством занимаются, покоя не знают. Полуторку себе купили, новую, конечно. Гараж Паша сложил. Теперь магазин строит, Настя будет в нём командовать. А в магазин придут одни старики да старухи. Как вырем все, и продавать будет некому, разве только дачникам... Паша для старичков и старается. Порадую, говорит, их напоследок. У нас в округе на десять километров ни в одной деревне магазинов нет. А раньше были... Зять у меня редкий мужчина, скажу вам, я им горжусь. За все мои страдания такой мне зятьёк достался, ошастливил нас с дочкой. Умный человек, самостоятельный, работающий. Знает, где что сказать, как к кому подойти, и ничего не боится. Всё у него выходит, за что ни возьмётся. Другие мужики вино пьют, рубли ходят стреляют, а Паша делом занят, зарабатывает. Он уж с важными людьми в Муроме и Владимире запросто. Я ему со своей стороны помогаю. Иной раз придет: «Мать, надо мне солёных рыжиков трехлитровую банку. Сделаешь? С начальником одним еду потолковать, от него кое-какие дела у меня зависят». Тут вот мой погребок и приходится кстати. Лезу, достаю рыжики. «Спасибо, мать, ты умница, – и чмокает в щёку, колетса своими усами. – Я твой должник. За мной подарок». «Да не нужно мне никаких подарков, – говорю. – Уважаешь меня – это самое главное. За уважение я всё, что хочешь, для тебя сделаю».

Алевтина посмотрела на всех нас по очереди и всем улыбнулась. Мы прониклись её похвалой любимому зятю и тоже разулыбались.

– А молодые что же? – спросил я. – Они чем занимаются?

– Внуки у меня тоже неплохие, – сказала она. – В родителей пошли. Грех жаловаться. Уважительные, отцу с матерью помогают. Вова, старший, хочет поступить в сельскохозяйственный техникум, на механика, в этом году он закончил девять классов, а младший, Толик, перешёл в седьмой. В соседней деревне у нас школа, за пять километров попутным автобусом добираются ребяташки, а то и пешочком туда и обратно... Оба они, Вова с Толиком, умеют и косить, и строгать, и пилить, и за огородом ухаживать, – к жизни приспособленные, одним словом; но, конечно, ещё мальчишки. Порой выкинут что-нибудь такое, не без этого. Возьмут и укатят на велосипедах неизвестно куда и дома не скажутся, а мы их потом ищем, волнуемся. Или вот теперь модно у молодёжи с магнитофоном гулять. Раньше парни с гармонью по деревне ходили, а теперь с магнитофоном. Но ведь от гармошки на сердце благодать, а от магнитофона одно бешенство. И Вова с Толей, бывает, ходят наигрывают. Среди дачников у них

есть друзья-приятели, и из соседних деревень на велосипедах приезжают. Соберутся, включают американскую музыку по сильнее, так что кишки выворачивает наизнанку, да прохаживаются по улице под окнами. Паша этого страшно не любит, ругается. Магнитофон грозитя отобрать или разбить об угол. А в лес внуков не дозовёшься. Нет! То, чем мы, и родители наши, и деды, и прадеды жили в деревне, уж и не надо молодым. У них другие интересы...

Поддерживая одной рукой другую, Алевтина погладила себе щёку и качнула головой.

– Ну, и продаю я избыток, – сказала она. – Дёшево, конечно, однако всё польза мне, прибавка к пенсии, не больно у меня пенсия велика, да и ту спустя полгода теперь выплачивают. Дочка с зятем дарят на конфеты, и не только на конфеты – вон холодильник поставили и плиту газовую, – да я стараюсь их не обременять, сама зарабатываю себе на жизнь, пусть тратят на детей и на предпринимательство. Но много всего я задаром раздаю. Старушки в деревне есть почти столетние, одинокие. И солёного им хочется, и варёного. А где взять? Сами уж ни в лес не могут сходить, ни огород вырастить. Попросят иногда, или я сама угощу... Местные пьяницы выпрашивают на закуску. Этих угощать не хочется, пьяниц я не люблю, просто ненавижу, натерпелась из-за зелия проклятого. Но канючат, пристают с ножом к горлу: «Тётя Аля, дай огурчиков или грибочков!» Жалко их тоже, окаянных. Не дать ничего, так чем попало закусят, а то и вовсе без закуски выпьют – спаси Бог, отравятся. В последнее время прямо напасть какая-то, будто с ума мужики походили. Те, кто сроду не пил, хлещут вёдрами, ходят смурные, с чёрными лицами. Красивые, здоровые, и башковитые есть очень, и дельные, а совесть и ум пропивают и себя, дураки, зазря губят. К примеру, Лёша Фадеев. Трезвенник был, светлый безотказный человек, любой прибор мог починить, проводку провести, на столб, бывало, залезет. Потом вдруг запил. Сперва немного, потом сильнее. Пьёт, глядим, и пьёт, алкоголиком становится. «Что делаешь-то? – говорю. – Думаешь ты своей головой, куда катишься? К могиле ведь приближаешься». Усмехается мрачно, встряхивает кудрями. «Ничего, тётя Аля, ты не понимаешь». Или Дмитриев Юра. Он тут всем крыши крыл... Оба умерли преждевременно, с перепоя. А теперь и некоторые бабы от мужиков не отстают. Беда...

Я тут упомянул о доброте Алевтины. Хочу подчеркнуть, что её удивительная доброта была не показной или напускной, а истинной, прирождённой. Вот и месячную плату за прошлый наш постой хозяйка попросила столь ничтожную, и то застенчиво, что могла бы купить на неё разве только десяток буханок хлеба. Я и жена даже постеснялись давать ей такую мелкую сумму, уговорили взять побольше. Живя у неё два года назад, мы часто наблюдали проявление её большой доброты. По субботам Алевтина пекла в русской печи гору пирогов. Запах их распространялся по всему дому и выходил на улицу. Намывшись в общественной бане, которая, слава Богу, пока тут ещё работала, мы пили чай и ели её пироги в безупречно чистой избе, застланной светлыми половиками, но часто отвлекались на приход незваных гостей. Как бы невзначай заглядывали старушки, старики и народ помоложе, в том числе дети. Приветствовали нас, извинялись и топтались в дверях. Каждому хозяйка вручала по паре больших румяных пирогов и благодарила всех, кто зашёл и принял угощение. «Они уже знают, что по субботам я пеку пироги и люблю ими угощать, – объясняла нам Алевтина. – У меня для этого мешок муки всегда в чулане припасён, зять со склада привозит. Когда люди едят какую-нибудь мою еду, сынок мой Витя на том свете радуется. Поверье такое есть, а я прямо слышу его голос: «Мама, пожалуйста, угощай всех чем можешь. Очень хорошо, что ты так поступаешь. Мне от этого легче».

– А рукоделие своё я тоже дарить люблю, тем, кто заслужил и кто мне нравится, – сказала Алевтина. – Вот и вам всем свяжу тёплые носки, раз в гости приехали, не забыли старуху. А тебе, Анютка, свяжу и носочки, и варежечки. Не замёрзнут твои ножки и ручки ни при каких морозах. Овечья шерсть не пропускает холод, в ней сохраняется кровное тепло овечек. Как наденешь, так вспомнишь тётю Алю. А я тут почувствую, что ты вспоминаешь, и мне будет приятно.

Пошли любимые наши грибные дожди. Здешнюю песчанистую землю промочить нелегко: вода уходит в неё, как в прорву, – но небесная лейка включилась на несколько дней и работала круглые сутки с небольшими остановками. Нам было стыдно радоваться ливням, они размывали огороды, мешали заготовливать сено; но эгоистический грибниковский восторг подавить в себе было невозможно, и мы с женой прятали его от соседей. Алевтина же Степановна успокаивала нас и поощряла:

– Ничего, все клубни и корни в огороде не вымоет. И мокрое сено гниёт не в валках на покосах, а в стогах. Дожди перестанут, и солнышко опять его просушит. Зато под дождём вон какие сильные грибы нарастают! И червь их не берёт! Надо этим даром Божиим пользоваться. Всю зиму будем потом есть и маринованные грибы, и супы из сушёных боровиков, и картошку с солёными волжанками да груздочками. Нынче такую пищу, наверно, в ресторане за доллары продают?.. К нам тут всё ездят какие-то чернявые, большеносые, покупают лисички и маслята у деревенских. Видать, денежное это дело...

Мы собирали грибы прямо под дождём. Хозяйка дала нам для походов длиннополые линялые плащи с капюшонами и старые заплатанные резиновые сапоги, всё это обмундирование у неё осталось, наверно, с тех пор, как она добывала живицу. Лесные вылазки в ненастную погоду по-своему были прелестны. К тому, что вода хлещет тебя по спине, просачивается сквозь ветхий плащ, течёт холодными струйками за воротник, хлюпает в сапогах, заликает очки, скоро привыкаешь, но в дождь восхищаешься новым образом леса: он весь лоснится, блещет образцовой чистотой, выбеливается испарениями, примаскировывается струями и тонко благоухает. Повсеместный шум дождя завораживает. Птиц за ним вовсе не слышать, они, бедные, где-то затаились, спрятав голову под мокрое крыло. Ягоды земляники, костяники, мерцающая, горят сквозь сетку ливня. Фигурки грибов едва видны, расплывчатые, но, протянув руку к зыбкому силуэту, нащупываешь плотный, словно картофелина, боровик, подосиновик, подберёзовик. Возьмёшь его, приблизишь к глазам и увидишь, как хорош омытый дождём гриб, как здоров он и весел.

Вернувшись домой, мокрые до нитки, усталые и голодные, мы сбрасывали с себя походную одежду и развешивали в сенях на верёвках, а резиновые сапоги выносили во двор и надевали на колья частокола. Умывшись, переодевшись в сухое, согревались горячим чаем и наскоро перекусывали. Алевтина тоже не боялась ходить в ливень по лесу, и нередко мы с ней возвращались почти в одно время и вместе разбирали в кухне грибы, выкладывая их на пол, застеленный газетами. Хозяйка топила печь. Дрова разгорались, потрескивая, постреливая, было тепло, уютно, и от усталости тянуло в сон. Белые грибы мы отделяли от «чёрных», трубчатые от пластинчатых. Ножичком мы соскабливали со шляпок лесной сор, а тряпочкой смахивали песок. Белые, готовя их к сушке в русской печи, нанизывали на длинные спицы, а спицы распределяли по глубокому противню, удерживая грибы на весу, чтобы лучше сохли и оставались приглядными, остальные же складывали в кастрюли и вёдра – одни жарить и мариновать, другие солить. Аня крутилась возле нас, брала грибы и рассматривала со всех сторон.

– А вот этих малышей, дочка, я под самой берёзой нашла, – рассказывала ей Алевтина. – Испугались они дождика. Стоят, милые, прижались к берёзе, словно к матери, и не желают с ней расставаться. Так глубоко вросли в землю, что я едва до корешочков докопалась. Подрезала малышей под корешки и бережно положила в корзину. Они было заплакали, но, увидев, что я человек незлой, успокоились.

– Прямо заплакали? – спрашивала девочка в размышлении.

– Ну да. Я же их осиротила, от мамки отняла... Смотри, смотри, как улита белый гриб объела, прямо полшляпки изничтожила, негодница! Вон она, под шляпкой сидит, затаилась! Давай мы её, голубушку, с гриба снимем и в огород отнесём, пусть живёт... Маленькая такая, а тоже, видишь, любит грибы!

– Любит?

– Ага. Их все любят: птицы клюют, кабаны и лоси едят, и ёжик в гнездо на себе таскает, и белка в дупло складывает...

– А кошки грибы едят?

– И кошки, дочка, их едят, только жареными. Мой Васька всё лопаёт, что ни кинешь ему, даже морковку. Нагуляется, напугается, бродяга, придёт исхудалый, ободранный, и никак не может насытиться. Ест, урчит и от жадности трясётся.

Никому из нас, постояльцев, не удавалось подружиться с Алевтиным котом: наевшись от пуза, он тут же надолго исчезал. Рассказу о Ваське мы дружно смеялись, и громче всех заливалась девочка. Кто знает, возможно, не только семейное воспитание, но и общение с Алевтиной так благотворно подействовало на нашего ребенка, что по прошествии многих лет Анята мыслит и чувствует возвышенно, любит, жалеет, щадит всё живое.

– Ну вот, – сказала хозяйка, опуская в эмалированное ведро сочные пластинчатые грибы с дыркой в ножке, с ворсинками по краю шляпки, – белые грузди пошли расти. К осени дело.

– А нам не попались, – сказал я.

– В мелком березняке ищите, среди ёлочек и можжевельных кустов, в низких влажных местах, под листьями, – присоветовала Алевтина и кивнула на ведро с груздями: – Тоже сгодятся моему зятю для улаживания серьёзных дел с начальством.

– Часто вы зятя поминаете, – заметил я. – Хоть с усмешечкой говорите о нём, но с горячей любовью. С языка у вас зять не сходит. Считаете, повезло вам с ним, но, наверно, ему с вами повезло больше. По-моему, вы не теща, а клад.

– Да нет, почему? Есть и другие... – Она чуть замялась, но в общем приняла мои слова без ложной скромности. – Но я уважаю зятя, а он, наверно, меня... Знаете, иной раз смотрю и удивляюсь, сколько же в семьях бывает зла между старыми и молодыми! Ссорятся, по-всякому обзывают друг друга, а то и раздерутся: отец на сына с кулаками, сын на отца!.. Что-то делят, вспоминают обиды, разъезжаются навсегда... Жизнь проходит, старики сердитые быстрее помирают оттого, что не смиряются, а молодёжь упрямая старится до времени, болеет по собственной глупости. Я сразу себе сказала: с детьми ругаться не буду, соглашусь с ними и стану помогать. Не хочу, чтобы дети меня возненавидели и, как умру, вспомнили недобрым словом.

\* \* \*

С семейством зятя Алевтины я, жена и внучка сошлись престранным образом. Однажды Алевтина Степановна навестила близких и, возвратясь, сморщилась и хмыкнула одновременно. Сразу было видно: женщина не знает, смеяться ей или печалиться.

– Паша-то что учудил, – сказала она, – взял и упрятал своего старшего, Вову, в тюрьму, в кроличью клетку, и дверь закрыл на задвижку.

– Да за что же он его? – спросили мы с женой.

– А за курение, говорит. Унюхал, что от сына пахнет табаком. Отсидишь, мол, за это в клетке два дня. Соломенный матрац тебе дам, миску для еды, а в уборную будешь ходить в ведро. Мать слёзно просит: выпусти. А отец – ни в какую. Упрямый. Если что решил – будет стоять на своём.

Мы удивились, за глаза упрекнули грозного отца и стали думать, как выручить Вову. Анятка же побежала глянуть на затворника, а на Пашином подворье быстро сообразила, что нужно сделать, прокралась к клетке и отодвинула щеколду.

Скоро явился к нам Паша и привёл беглого арестанта, придерживая его сзади за воротник. Я уже вкратце описал зятя Алевтины сидящим в кавалерийской позе на мотоцикле, а теперь изображу стоящим на полу. Два года назад, когда я несколько раз видел его мельком издали, он казался мне пусть солидным и серьёзным, но очень моложавым, и хоть крепкого, но

довольно распространённого мужского телосложения, сейчас же передо мной предстал исполнинский усатый мужик, закопчённый на солнце, с грудью как бетонная плита и широким разворотом плеч, с крутым лбом и бычьим взглядом. Был он одет в светлую майку, и я полюбовался густым загаром его тела и бугристыми мускулами. Возникнув в двери, выставив вперёд себя понурого отрока, Паша расставил ноги в спортивных шароварах с боковыми полосками, подбоченился свободной рукой и грозно спросил:

– Признавайтесь, кто выпустил моего стервеца из клетки?

Старшие замерли, но Аня пропищала без дрожи в голосе:

– Это я.

– Так, – шурясь на неё, как на солнышко, тёмными глазами, произнёс Паша. – Что мне с тобой, девочка, делать?.. Ты добрая, но не вмешивайся. Я наказал, я должен и миловать.

– Простите Вову, – сказала Аня. – Он больше не будет. Не сажайте его в клетку.

– Прости уж, – сказала и Алевтина Степановна. – Или накажи как-нибудь иначе. Что он, зверь, что ли, в клетке сидеть? И не пугай малого ребёнка. Не бойся его, дочка. Он не такой страшный, каким кажется, наоборот, добрый.

– Ишь, защитники нашлись!.. А мы вот сейчас шалопаю допросим! – Паша отпустил сына и сам поправил ему воротник. – Отвечай перед своими защитниками, будешь впредь курить или не будешь?

– Не-е. – Вова переминался с ноги на ногу. Он махнул пальцем по ноздрям и с простоватой улыбкой уставился мимо всех – в сторону и вниз.

Отрок, между прочим, видом был даже не отрок, а уже детинушка, весь в отца, только мягче обликом: волосы и кожа светлее, румянец на щеках. Казалось удивительным, что большой мальчишка безропотно подчиняется родителю. Направив документы в сельхозтехникум, о чём нам рассказала Алевтина, Вова пока колесил в качестве грузчика на семейной полуторке, как пару лет назад ездил на мотоцикле, а в безделье он скучал, подгонял время до начала новой жизни в городе. Со скуки, наверно, и побаловался с товарищами курением...

– Ладно, девочка, – сказал Паша, – помилую его ради тебя и любимой тёщи. Очень уж вы хорошо за Вову заступаетесь. Но в другой раз ты его не спасай. Пусть несёт наказание, если заслужил. Как тебя зовут?

– Аня.

– Ну, а меня Павел Алексеевич. Будем знакомы.

Он протянул ей руку и двумя толстыми пальцами подержал детскую ручонку, на которой под нежной кожей проступали бледно-голубые жилки. Нам с женой зять Алевтины тоже подал руку, причём мне, как мужику, посильнее стиснул пятерню, и я услышал хруст своих косточек, едва не присел и не вскрикнул от железного рукопожатия.

– Наконец-то ближе познакомились, – сказал Паша. – А то знаю, что останавливаетесь у моей тёщи, а познакомиться всё недосуг.

– Однако... сильный вы, – сказал я, потирая прижатую руку. – Вон, одни мускулы... Такие, наверно, богатыри сражались с лютым врагом на Чудском озере и Куликовом поле. Вижу вас в кольчуге, шлеме и с мечом в руках.

– Дак, чай, мы из-под Мурома, потомки Муромца Ильи. – Паша нарочито упростил свою вполне современную речь и неожиданно во весь рот добродушно ухмыльнулся, показав крепкие зубы...

Русские люди редко знакомятся мимолётом, по образцу «здравствуй – и прощай». Даже в вагоне поезда, а то и на остановке городского транспорта они сходятся меж собой основательно и, бывает, сходу обмениваются адресами. Широкая натура требует тесного общения, разговора по душам, и как-то раз в воскресный день Паша с Настей позвали нас в гости, и мы охотно заявили. Изба у них была просторная, пятистенки в три комнаты. Мебель всюду стояла хорошая, полированная. В большей из комнат хозяева щедро накрыли стол. Пока мы

осваивались в чужой обстановке и ждали приглашения к столу, мы встретились и с младшим ребёнком в семье, с Толиком, тонким, стройным, как девушка, живым и подвижным против флегматичного крепыша Вовы, и пригляделись мы к Пашиной супруге, женщине тихой, милой, улыбочивой, скорее пышной, чем полной, с толстой русой косой, в спираль закрученной на затылке. Толик проявил мне свою дотошность и начитанность. Не znalся ли я, спросил он, с покойным владимирским писателем Сергеем Никитиным, рассказы которого ему нравятся? Я думал, этот мальчик с пытливым взглядом больше всего любит литературу, и мнением своим захотел польстить Насте, но мать Толика сказала, что в школе у сына лучшие успехи в математике, а не в литературе, и он победил на какой-то математической олимпиаде. Жена Паши обликом походила на Алевтину: лицо широкое, простое, только черты нежнее, чем у старой матери. По голливудским меркам женщину с такими чертами красавицей не назовешь, но, без сомнения, это добрая хозяйственная женщина, предпочтительная сравнительно с другими для создания крепкой семьи. По-моему, Настя была «душечкой», то есть примерно соответствовала образу, созданному Чеховым. Порхая в ярком платье из кухни в горницу, что-то быстро довершая в убранстве стола, она, мы с женой это слышали, на ходу говорила помогавшей ей Алевтине: «мы с Пашей», «Паша сказал», «Паше понравится»... Хозяин в это время откупоривал бутылки с вином и фруктовыми напитками.

Поев с нами, захватив со стола конфеты и фрукты, дети ушли гулять, а взрослые, подогретые вином, спели «Подмосковные вечера» – лиричную советскую песню. Жена моя быстро нашла общий язык с Настей, а я разговорился с Пашей. Алевтина Степановна зорко и мудро посматривала на всех, и хотя она больше молчала, чем говорила, но казалась мне тут главной фигурой, под наблюдением которой проходило застолье.

Из разговора я выяснил, что Паша состоял в компартии. В перестройку он отошёл от партийных дел, но членский билет не поручил и в простых коммунистов, своих товарищей, булыжником не запустил. Однако всегда он был несогласен с большевиками в том, что они отменили частную собственность и позакрывали церкви.

– Сам я не сильно верующий, хоть и крещёный, – добавил зять Алевтины. – Церковных правил не придерживаюсь и не молюсь. Но, считаю, большевики дали крупного маху, когда устроили гонения на верующих. Это ещё хуже, чем отмена частной собственности. Они оттолкнули от себя многих честных людей.

– Оттолкнули, говорите, а народ пошёл за советскую власть воевать. Хоть нынче и искажаются многие события нашей истории так, как кому-то это удобно, но разве не правда, что белые и Антанта не смогли одолеть Красную Армию, состоявшую из неимущих пролетариев и лапотных крестьян, среди которых полно было верующих? Не зря ведь народ поднялся за большевиками. Попробуй его подними!..

– Он воевал против загнившего самодержавия и паразитов-собственников. И царь, и паразиты довели страну до ручки. Дальше уже нельзя было терпеть. Большевики воспользовались случаем и возглавили эту войну. Возглавила бы какая-нибудь другая партия, народ пошёл бы и за другой... Но обида в народе затаилась до поры, до времени. И верующие рассердились на большевиков, и собственники. Их внуки с правнуками и поддержали нынче перестройку, помогли хитрым демократам совершить контрреволюцию и уничтожить советскую власть. Иные демократы открыто ненавидят Россию и русских. Сперва им, конечно, помогли спецслужбы и денежные мешки Америки с Израилем, это теперь всем ясно, но вот и потомки обиженных пособили...

Паша говорил охотно и убеждённо. На лице его сквозь загар проступал румянец азарта. Зять Алевтины был, несомненно, грамотный, думающий человек. Он давно сложил собственное представление о том, что сейчас мне доказывал.

– В войну Сталин церкви велел открыть и приветил религиозных деятелей, – сказал я. – В церквях проповедовали сокрушение фашизма, молились во славу советского воинства и в память погибших. Я помню это время.

– Так-то оно так, – отвечал Паша. – Сталин был мужик головастый и знал, что делал. Но всё равно у нас пропагандировали атеизм и оскорбляли верующих. Со мной, когда я ещё в начальные классы ходил, училась одна девочка, дочь попа сельской церкви. И учителя давали ей понять, что она неправильная, вроде как ненормальная, раз поповская дочка, и ребята изгалялись, дёргали её за косы, щипали, толкали, стишком обидным дразнили: «Гром гремит, земля трясётся – поп на курице несётся...» Стыдно мне сейчас вспоминать, но я тоже участвовал. А она тихая была, добрая, хотела со всеми дружить. До слёз её доводили, до болезни. Встаёт иногда эта девочка у меня перед глазами, Таней её звали, вижу, как глаза кулачками вытирает...

– Зато теперь, – заметил я, – полная свобода вероисповедания. Все вмиг стали верующими, а самыми истовыми – наши правители, бывшие ярые коммунисты...

– Ладно, Иваныч, про них, – оборвал мою ехидную речь Паша. – Тут тоже всё понятно. Это политиканы: если потребуется, они снова придавят верующих. Потешно, конечно, смотреть по телевизору, как они наспех крестятся в церкви или столбами со свечками стоят, но, чтобы власть удержать, они на многое способны, может, даже на злодейство.

Пророческим оказалось крутое Пашино высказывание. Обсуждали мы с ним окаянную российскую власть летом девяносто третьего года, в преддверии расстрельных октябрьских событий.

– А рядом с правителями воры кладут крестные знамения, – сказал я, – новые собственники.

– Правильно, и эти тоже.

– А вот ведь не жалуете вы, Павел Алексеевич, новых собственников, хотя ругаете большевиков за то, что они пресекли частную собственность.

Он посмеялся в ответ на мою промашку.

– Как же не жалуя, если я сам собственник? Я ненавижу хапуг, паразитов, разных гадов, а тех, кто делает дело, очень даже уважаю...

Мы с ним вышли из избы. Хозяин показал мне своё подворье, огород, курятник, свинарник и, между прочим, большую кроличью клетку, в которую не так давно пробовал засадить сына. Кроликов Паша с Настей сейчас не держали. В клетке стояла собачья конура. Хозяйский пёс Черныш, коротколапый, с хвостом баранкой, бегал в свой домик через приоткрытую дверь клетки, а на время заключения в ней Вовы Чернышу пришлось бы ночевать в других местах двора. Посмотрел я и Пашину полуторку, и гараж, самолично им сложенный из красного кирпича, и его деревянную баню я увидел, и стены недостроенного магазина, перекрытые стропилами. Потом мы вернулись к столу и ещё посидели в компании...

А вскоре я и жена с внучкой уже мылись по субботам в бане у Паши и при случае бесплатно ездили во Владимир на его старой полуторке, превращённой хозяином в фургон. Рядом с Пашей в кабине сидела Настя, а мы – пассажиры и Вова с Толей, грузовые помощники, располагались на лавках в крытом кузове. Мы, стало быть, подружились с Пашиным семейством; но меня подмывало обратиться к нему с горячей речью: «Вы славные ребята. Я вас всех люблю. Но что же забываете дорогую свою мамашу и бабушку? Ведь она очень одинока, всё одна и одна. И почему вы позволяете ей на старости лет жить в одиночестве и заниматься тяжёлым трудом? Неужели ни у кого из вас нет времени и желания ей помочь? Я знаю, она станет отказываться от помощи, но разве не ясно, что это позиция независимого человека, привыкшего обходиться собственными силами и не стеснять близких? Конечно, не моего ума дело, но хотелось бы знать...»

Нет, так я мог лишь думать, но не говорить. Всякая семья – особое карликовое государство, и сгоряча вмешиваться в его порядки никому не следует. Алевтину-то я аккуратно пораспрашивал, отчего она не перейдёт жить к дочери. «А врозь удобнее, – сказала старушка. – Тут я сама себе хозяйка. И характер у меня не всегда бывает лёгкий. Вообще на расстоянии легче любить друга друга, чем когда живёшь вместе».

\* \* \*

И вот мы обрели собственную избушку, на самом верху деревни, на отшибе, на холме. Это случилось через одиннадцать лет с тех пор, как я, жена и внучка впервые увидели здешние чудесные края и по совету знакомых попросились на постой к Алевтине Степановне Жёлудевой. Я уже говорил, что наезжали мы в деревню нерегулярно, с перерывами, и последний из них составлял значительное время, года четыре, помнится. То, что творилось в стране с начала девяностых годов и именовалось «перестройкой», всё более разрушало деревню на наших глазах и разрушило её так, словно над ней пронёсся дьявольский ураган. Многие избы, ещё недавно вполне жилые, остались без хозяев. Кем-то избы были разграблены и осквернены, окна выбиты, двери сорваны с петель. Обездоленные старые крестьяне в большинстве умерли, а их городские родственники не объявились. Раньше при деревне существовало государственное карьероуправление, в её окрестностях добывали «белый камень», который на местном камнедробильном заводе перемалывался в щебёнку, и у здешних мужчин были постоянное занятие и надёжный источник дохода. Ныне производство зачахло. Работяги пробавлялись скудным пособием по безработице, и вот на него да на случайные «гребешки» и «халтурки», заказанные дачниками, они пьянствовали, притупляя в себе охоту к плодотворному труду и нормальному человеческому существованию. Некогда здесь работал государственный магазин, действовали школа и приличный клуб. Нынче всё это как ветром смело. Прежде бросались в глаза и признаки благополучной артельной жизни. Мы с женой и внучкой успели застать то время, когда в приречных лугах паслось большое колхозное стадо, а за околицей перед лесом, где теперь образовалась целина, росли пшеница и гречиха. Поспевающая гречиха становилась бордово-сиреневой, а посеянная рядом колосющаяся пшеница – солнечно-жёлтой, и это яркое цветовое согласие под голубым летним небом выглядело потрясающе красиво, мне никогда его не забыть...

Сразу заглянули мы к старой знакомой и сквозь частокол увидели её в огороде. Хозяйка косила траву на лужку за грядками и так яростно взмахивала косой, с таким лихим воинственным свистом подрезала высокие стебли, как, по-моему, никогда прежде этого не делала. Ногу, на которой однажды заболела «чиколка», старая женщина сильно приволакивала. Выше щиколотки её больная нога, обутая в прорезиненную тапку, вздулась и по форме напоминала бутылку, перевёрнутую вниз горлышком. За годы, пока мы не виделись, Алевтина раздалась вширь, потяжелела. Её лицо не сильно обморщинилось, но стало грубее, мясистее, нос и глаза припухли. Она была в платке и старом жакете, похожем по фасону на мужской пиджак, на бёдрах линялое цветастое платье, ноги в тапках голы.

Конечно, она тут же отвлеклась от работы, приставила косу к забору, всплеснула руками и позвала всех нас в дом. Но сперва гости зашли в огород, глянуть, как бывало, на ухоженные грядки и разросшиеся культурные растения. Мы поочерёдно обнялись с хозяйкой и расцеловались. Она долго рассматривала явившуюся к ней шестнадцатилетнюю девушку, узнавала Анюту и твердила с умилением, притуманенным печалью:

– Невеста! Как время быстро летит!

Вера с позволения хозяйки сорвала с грядки огурчик, обтёрла его руками и, чему-то рассмеявшись, стала есть.

– Видел не раз, как косите, но, ей-Богу, вы опять меня удивили! – сказал я Алевтине. – Ну можно ли так женщине напрягаться, да ещё, извините, в вашем очень почтенном возрасте?

– Разве я женщина? – ответила она.

– Кто же вы?

– Я лошадь.

Тогда и прочёл я ей мудрые стихи поэта Анатолия Брагина, некогда врезавшиеся мне в память:

Лошадь пашет, а мухи кусают:  
И паши, и хвостом маши!  
За работою жизнь угасает,  
Но уж больно поля хороши!  
Лошадь пашет, а мухи кусают.  
Так и надо.  
Кому что дано.  
За работою жизнь угасает,  
Без работы угасла б давно.

Стихи Алевтине Степановне понравились. Она, на удивление мне, и почитывала тоже. В горнице у неё стояла этажерка с книжками, среди которых были и мои, подаренные Алевтине. В стихотворении Брагина ей особенно показались заключительные строчки:

За работою жизнь угасает,  
Без работы угасла б давно.

– Верно! Верно! – сказала она. – Кабы не работа, я бы, точно, давно ноги протянула! Тут у нас одну пожилую женщину кто-то надоумил купить прибор для измерения давления. Она купила в городе и всё мерила на беду себе. Как ни загляну – на кровати лежит. «Ох, у меня давление, у меня давление!» «Глупая! – обругаю её, бывало. – Выкинь ты этот измеритель, снеси на помойку! Вставай! Бери вилы, грабли, косу – что хочешь – и вкальвай, иначе скоро помрёшь!» «Тебе бы так! – отвечает, капризничает. – Небось, не говорила бы тогда! У меня вон голова кружится и ноги не идут!» «Где твой прибор? – спрашиваю. – Ну-ка, измерь мне!» Нехотя меряет, видит: у меня двести тридцать на сто, совсем плохое давление, сильно повышенное, и пищит: «Не может быть! Как же ты работаешь? Ты что-нибудь такое подстроила! Или прибор сломался!» Так, бедная, и скончалась с измерителем под подушкой. А взяла бы себя в руки и стала побольше двигаться, глядишь, жила бы себе да жила.

Ещё она верными и забавными нашла строчки Брагина о мухах, кусающих рабочую лошадь. Яркую картинку, а по сути, непростой художественный образ Алевтина, смеясь, обговорила так:

– Вот ведь облепят, черти, со всех сторон, пока в пойме косишь, где самая сочная трава, и мухи, и комары, и оводы насыдут, и кусают, кусают, жрут поедом! А ты косишь, не обращаешь внимания! Отмахнёшься иногда, когда сил больше нет терпеть, и всё... Правильно, это у них работа такая – кусать труженика, кровь из него высасывать, больше-то ничего не умеют! А наше дело – косить!

Расположиться все захотели в уютной кухонной обстановке. Хозяйка вымыла руки и быстро заварила чай, а Аня, посидев тихо, превозмогла девичью застенчивость и стала помогать хозяйке накрывать на стол. Жена моя достала из сумки наши скромные гостинцы: сливочное печенье и шоколадные конфеты. За чаем мы коротко поведали Алевтине о своих делах, а она – о своих. За последние годы главным событием в её жизни было то, что пару лет назад

Паша возил тещу в город на операцию: что-то внутри у неё болело. Оперировали благополучно, чувствует она себя неплохо, но есть можно не всё. А вот ногу так и не вылечили, сказала Алевтина Степановна. Надо опять ложиться в больницу, а неохота, пропади оно, это лечение, пропадом. Её корову Белку отвели к мяснику. Белка где-то споткнулась, охромела, и пришлось корову забить. Когда животины ковыляла на поводке за мясником, то всё оглядывалась на хозяйку и жалобно мычала, плакала, слёзы у неё даже текли. Хозяйка тоже плакала...

– А! Так вы уж больше по-настоящему и не косите! – понимающе сказал я. Только в огороде лишнюю травку изводите!

– Нет, кошу. Как всегда.

– Для кого же?

– Для других коров, чьи хозяева закажут мне накопить сена. Я им – сена, а они мне – молока. Из молока опять сметану делаю, масло сбиваю, на оброте или простокваше тесто замешиваю, пироги пеку. Всё идёт своим чередом. Коров, правда, осталось в деревне всего пять штук. Некоторые хозяева собираются на будущий год своих забить, будет, может, штуки три. А сама я после Белки не хочу корову держать, по Белке тоскую. Да и тяжело стало мне...

Поразмыслив над её невесёлыми словами, подивившись неискоренимой Алевтининой потребности исполнять заповедный крестьянский труд, я кивнул на прятку у окна.

– Что, и прядёте до сих пор?

– И пряду, и вяжу.

– Может быть, и дрова опять сами колете?

– И дрова колю, и по воду хожу, и овечек стригу, и много ещё чего делаю. А как же? В деревне без этого нельзя. Как там: «За работою жизнь угасает, без работы угасла б давно»?.. Молодец ваш поэт! Привет ему от меня!

– Ну и ну! – сказал я, разведя руками в крайнем удивлении, а потом спросил: – Слышал, Алевтина Степановна, что нет у вас теперь ни колхоза, ни карьероуправления. Так к кому же или к чему ваша деревня нынче относится? Кто ваш хозяин?

– А ни к чему мы не относимся, – ответила она. – Сами по себе. Что хотим, то и делаем. Никто нами давно не руководит, и никто нами не интересуется, кроме скупщиков грибов и ягод. Вот даже из электросети ни одна живая душа сюда три года не навевается, плату за свет с нас на берут. Вроде бы людям надо радоваться, а они плечами пожимают и обижаются. Может, нашу деревню уж и с областной карты стёрли? Надо будет узнать... Фермер тут один объявился. Купил гектары, большое хозяйство затеял, да, видать, дело оказалось ему не по плечу. Вкалывать ведь нужно с утра до ночи, налоги платить, взятки давать, убытки из-за неурожаев терпеть. Не выдержал фермер, всё бросил и сбежал без оглядки, словно на него пчёлы напали, а его гектары бурьяном и быльём поросли... Крестьян у нас осталось совсем немного, зато полно новых дачников с машинами, есть среди них такие толстые, словно это свиные окорока идут по улице, а не люди, иные не идут, а плывут, как облака, шёлковыми зонтами от солнца прикрываются, что-то высматривают и, видно, к себе примеряют. У нас по деревенским обычаям принято со всеми здороваться, и со знакомыми, и с незнакомыми, а эти головы не повернут, не глянут на встречного, только губы оттопырят. Дворцы себе какие-то жуткие строят, с башенками. Мне всё кажется, будто в них Кощеи Бессмертные и Змеи Горынычи живут. Держат огороды, но сами в них ничего не делают. Прежние-то, обыкновенные дачники, всё, глядишь, в земле ковыряются, с грядок не слазят. А новые работников нанимают, батраков. Но при случае хвастают друг другу: «Ах, у меня огурчики цветут! Ах, у меня кабачки зреют!» Не удивлюсь, если из Москвы поступит распоряжение всех крестьян, какие ещё остались в деревнях, закрепить за новыми дачниками, сделать крепостными...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.